

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 12

1981



*Юрий ГРИБОВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ПОКЛОН ХЛЕБУ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 12

Юрий ГРИБОВ

# ПОКЛОН ХЛЕБУ

О Ч Е Р К И

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1981

## Юрий ГРИБОВ

Юрий Тарасович Грибов родился в 1925 году в селе Бугры Богородского (в настоящее время Дальне-Константиновского) района Горьковской области.

В годы войны работал мотористом на волжских судах «Карелия» и «Якутия», затем добровольно ушел в армию, окончил Энгельское пулеметное училище. На 1-м Белорусском фронте командовал пулеметной ротой, участвовал в форсировании Одера и штурме Берлина. Имеет восемь правительственных наград.

Демобилизовался в 1956 году. Подполковник запаса. Работал в Костроме, в Пскове. В качестве специального корреспондента газет «Правда» и «Советская Россия» много ездил по стране.

В разные годы у него вышли книги повестей, рассказов и очерков: «Сильнее смерти», «Пора зарниц и облаков», «Сороковой бор», «Тайна старой мельницы», «Рубиновые серьги», «Тихие острова», «Журавлиная стая», «Капель», «Теплые ключи», «Семь домов у Кунь-горы», «Смоленские дороги», «Поездка в Тобурданово», «Ветка ивы», «Высоковские старики», «Перелом лета», «Полковничья роща» и другие.

В настоящий сборник включены очерки и новеллы, написанные за последнее время. Это результат недавних поездок по стране.

Ю. Т. Грибов — секретарь правления Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации, главный редактор еженедельника «Литературная Россия».

## ТАК ЭТО БЫЛО...

Умный и добрый прищур глаз, короткие простецкие усы, во всю щеку глубокая складка... Есть что-то в его облике от старого питерского рабочего, каких нередко показывают в кино. Может быть, плоская кепочка и куртка с отложным воротником напоминают об этом сходстве или еще какая-то еле уловимая деталь. Такие лица обычно привлекают ребятишек, да и взрослые охотно открываются перед ними душой. Говорят, что терский казак Тимофей Антоненко как раз и был таким человеком, к которому все хуторяне тянулись...

Я долго всматривался в фотографию Антоненко, стараясь через его образ как бы увидеть и поглубже понять то далекое боевое время, когда он организовывал коммуну и был ее первым председателем. Фотография его висела в московском Музее Революции, и я еле протолкался к ней: так много пришло народу, чтобы ознакомиться с историей и новью ставропольского колхоза «Коммунистический маяк», одного из старейших колхозов страны, истоки которого идут от Тимофея Антоненко и его друзей-коммунаров. Конечно, интересовались люди не только этим знаменитым хозяйством, а всем колхозным строем, широким его движением, которое началось полвека назад, а кое-где и пораньше. Владимир Кириллович Кочетов, теперешний председатель «Коммунистического маяка», совсем еще молодой человек, показывая в музейных залах свои стенды, не успевал отвечать на вопросы, робел под напором любопытных и под конец не выдержал, обратился ко всем сразу:

— Товарищи! А вы лучше приезжайте к нам! Сами все и увидите. А то что тут... Нет, понимаете ли, того впечатления...

Побывать в таком колхозе всегда полезно, и я, не откладывая, вскоре же и собрался и через каких-то два часа, выйдя в Минеральных Водах из самолета, уже катил в степную «аграрную» сторону. Февраль только начался, а здесь ни снежинки, поля черны, курится над ними легкий парок. Но перед станцией Новопавловской и дальше ее, уже на землях колхоза, куда мы ехали, весна заметно отступила, показался снег, повеяло колючим холодом.

— Горькая Балка! — прикрывая стекло и как бы извиняясь, сказал шофер. — У нас тут всегда так об эту пору. И ста верст не проехали, а климат другой...

Где-то слева, за лесопосадками, проходила эта самая Горькая Балка или просто неглубокая длинная впадина, заполненная кое-где горько-соленой водой. Я уже знал, что здесь и расположены поля «Коммунистического маяка» и что раньше, всего полвека назад, в этих местах почти не занимались хлебопашеством, редкие кочевки табунщиков попадались в горячей полынной степи. С крохотных десятин, а не с гектаров начинали коммунары, на волах пахали, за плугом ходили с винтовкой: «гуляла» вдоль Горькой Балки свирепая банда Конаря. Но общественный труд уже сплотил людей, не боялись они ни черта, ни бога, шаг за шагом вперед шли: «Фордзон», грузовик, детские ясли, ферма, радио, электричество. И землю сухую родить заставили, сады разбили, виноградники. В тридцать четвертом году «Коммунистический маяк», уже как колхоз, в миллионеры вышел. Во главе хозяйства к тому времени стоял Андрей Васильевич Чухно, талантливый крестьянин из коммунаров. Миллион рублей — тогда это очень здорово звучало, и колхозники с радости в один голос высказали свое пожелание:

— Памятник Ленину надо открыть! Владимиру Ильичу!

В тенистом парке бывшей усадьбы помещика Карпухина, «овечьего короля», который держал в кулаке все здешние земли, встала на постаменте родная фигура Ильича, а чуть поодаль, на полянке, появились бюсты Пушкину и Горькому. В те годы в ходу было слово «зажиточный». Зажиточным называли и колхоз «Коммунистический маяк». Поглядеть на него даже из Америки приезжали, из Европы. Дотошные иностранцы, знающие толк в сельском хозяйстве, рассматривая и пробуя на ощупь литую пшеницу, подсолнухи, виноград, терских скакунов и упитанных телок, овец и поросят, удивленно покачивали головами: в голой степи, почти голыми руками, так быстро и так хорошо...

Андрей Васильевич Чухно руководил колхозом сорок лет. Он стал Героем Социалистического Труда, три созыва союзным депутатом был, а, уходя на пенсию, хозяйство передал в надежные руки — Юрию Алексеевичу Бочарникову, воспитаннику своему, человеку образованному и умному, с этой же ставропольской земли родом. Колхоз и при Бочарникове, имея большой разгон, поднимался в гору, расширялся и богател. Не остановился он в росте и после того, как Юрия Алексеевича краевые власти «бросили» в соседний район, и не кем-нибудь, а первым секретарем райкома партии. Все тот же чухновский большой разгон действовал, кадровая основа, завкасса крепкая. Это сразу же почувствовал и Владимир Кириллович Кочетов, сменивший Бочарникова. Да и сам Чухно не дремал. Создав вместе со своим старым товарищем Иваном Мартовицким, тоже коммунаром и отставным подполковником, колхозный музей, он не забывал и производство, людей, которых знал до «последней косточки». Высокий и вроде бы медлительный, суровый с виду, он по-прежнему

при любой ситуации говорил тихим голосом, применяя к провинившимся свою излюбленную фразу:

— Ну что же ты, милый друг? С такой работой мы с тобой с батожком да с сумой через плечо поплетемся...

К Чухно к первому и пошел я, как только мы приехали на центральную усадьбу «Коммунистического маяка». Он был в музее. Двенадцать лет уже Андрей Васильевич водит людей по комнатам бывшего карпукхинского дома, где собрано все, что можно было собрать из той легендарной поры зарождения колхозов. Чухно в фуфайке, на шее теплый шарф, вид у него нахохленный, зябкий: нездоровится ему, простыл, видно. Можно бы и дома полежать, чаю с медом попить, но не привык он нежиться, всю жизнь с рассветом на ногах. А ведь ему уже под восемьдесят, половина из них прошла на «инфарктной» председательской должности да еще в те годы, когда указания и грозные, не всегда разумные команды так и сыпались на его седую голову...

— Нас, коммунаров, мало уж остается, — говорит Андрей Васильевич, сопровождая меня по музейным комнатам. — Вот и Тимофей Антоненко ушел раньше времени, Нестерова Павла не стало... Но корень наш вечен... Лично у меня только целый взвод внуков...

С жадностью разглядываю я каждую музейную вещичку: плакат на шершавой бумаге, снимок хлебного обоза, квитанции о налогах, почетные грамоты, плуги, горшки глиняные, винтовки, старенький «Максим»...

— Неужели и он применялся? — спросил я, склоняясь к пулемету.

— Еще как! Он, родимый, и выручал нас. До трехсот сабель вражина Конарь имел, а коммунаров горстка. Насмерть стояли ребята...

Андрей Васильевич показал взглядом вверх. Там по стенке лесенкой сбежали фамилии погибших хуторян: Салганюк, Ермоленко, Илларионова, Хорошко...

— Вот так это и было... Счастье наше колхозное кровью омыто, в борьбе завоевано...



Меня определили на ночлег в большой, городского типа гостинице. По удобствам и новизне здесь вообще все городское. Именно по удобствам, а не по этажам и размерам.

— Сервис у нас московский, а природа своя, — сказала секретарь колхозного парткома Светлана Леонидовна Ивченко, когда мы с ней ходили по поселку.

У центральной усадьбы нет собственного имени. Она называется так же, как и колхоз, — Коммунистический маяк. Это потому, что

у поселка еще коротка история, а тут все современное, новое, да и люди не захотели что-то придумывать: Коммунистический маяк — и никаких! В память о коммунарах, о дедах и отцах наших. Пусть на весь край их маяк светит, разгорается еще ярче...

А он и впрямь светит добрым примером, этот красивый степной поселок. Дома в нем каменные, типично сельские, в окна георгины заглядывают, у всех садики, грядки с зеленью, дворы для свиней и коров, гаражи автомобильные, на кухнях природный газ, вода течет из крана, есть и души и ванны. Рядом с правлением все основные здания: Дом культуры, магазин, столовая, детский комбинат, Дворец спорта, где два шкафа забиты переходящими кубками. Спорт в колхозе любят, местные команды побивают соседей и по стрельбе, и по плаванию, по бегу. Особенно футболисты отличаются. Когда в Пятигорске или в своем Кировском районе играют, болельщики толпами валят, даже доярок не удержат на ферме. Команда в основном из механизаторов, а парни там — огонь. Коля Кравцов и Виктор Медведев — любимцы публики. В критические минуты крик стоит над стадионом, хоть уши затыкай:

— Коля, давай! Бей в угол, Николаша! Витя, гляди в оба! Ноги оторвем, мазила!

Переживают люди и за породистых чистокровных скакунов, которых колхоз издавна у себя выращивает. Когда на ипподроме участвует в скачках гнедой жеребец Баргузин, то потом во всех бригадах на неделю разговоров хватает: как на второй круг он вышел, да где Сибарита обошел, почему ездок Баргузина не вовремя горячить начал...

В колхозе пекут свой хлеб и делают свое сухое вино «Сильванер». Когда я вернулся от Чухно из музея, Кочетов, Светлана Леонидовна и Владимир Наседко, местный профсоюзный руководитель, угощая этим вином, подчеркнул, что оно, мол, не ахти какое, для своих нужд делается. И Кочетов, и Наседко, и Светлана Леонидовна нажимали на то, что в колхозе все должно быть своим: и мед, и фрукты, и овощи. Люди это требуют, особенно молодые семьи, детсад надо лучше снабжать, иностранных делегаций в год до десятка бывает. Хорошо народ здесь зажил, что и говорить. Вчера в кассу взаимопомощи заявление поступило: прошу выделить две тысячи рублей на свадьбу. Вот так. Две тысячи, и не меньше...

Кочетов доволен, что ему доверили такое хозяйство. Он сельский инженер, в замах походил в соседнем колхозе, крупным свино-откормом ведал и к тридцати годам показал себя со всех сторон положительно: инициативен, строг и справедлив, новизну чувствует и смело вводит, умеет смотреть вперед...

— Вот уж как завтра все обернется, — говорит он, волнуясь. — Собрание у нас завтра, отчетно-выборное... Первое мое такое собрание...



Он свозил меня на животноводческий комплекс, где за каждой дояркой закреплено по сто двадцать коров, и заторопился домой, чтобы посидеть еще над докладом, подумать, подсократить. А я долго гулял по поселку. Похрустывал под ногами тонкий ледок, свистел в проводах ветер, дующий из степей. И мне почему-то представилось вдруг, как от Горькой Балки с гиком скачут бандитские всадники, часто хлопают выстрелы... Даже думать об этом страшно... А каково им было, молодым коммунам, матерям, их женам, детям малым...

\* \* \*

С утра возле Дома культуры играет духовой оркестр. По всему поселку разносится его зовущая, веселая музыка. Во всем видится что-то праздничное: в одежде людей, в улыбках, в торжественной подтянутости. Колхозники шли на свое собрание...

Как все изменилось в деревне! Я помню, как в нашем горьковском селе на собрания собирались в бывший поповский дом, который был чуть побольше простой избы, садились, не раздеваясь, прямо на полу, мужики курили, ругались, а мы, пацаны, прятались под стол, накрытый красной материей, и слушали. Заседали дня по три, не меньше, так на полу и засыпая от усталости...

А тут просторный, чистый зал, удобные кресла, трибуна на сцене, микрофоны, яркий свет. Кочетов в новом костюме, в котором в Москву, в музей приезжал, ветераны при орденах, женщины в модных платьях. Усиленные динамиками, гулко разносятся слова доклада. Прошлый год был трудным, засушливым, но колхоз все равно планы выполнил и сейчас, зимой, по всем показателям с плюсом идет: и по молоку и по привесам скота. Кормами даже с соседом делится...

Бойко говорит Кочетов, чуть торопится от волнения, кидает взгляды в зал на механизаторов и животноводов, которые везут этот огромный колхозный воз, на специалистов своих, таких же молодых, как и он сам. Вон виднеется Вася Дегтяренко, бригадир, занявший со своим коллективом первое место по всем показателям: и пшеница, и подсолнух, травы кормовые, кореандр и клещевица дали приличные урожаи. А слева, рядом с Иваном Федоровичем Кщешней, который ведает ученической школьной бригадой, скромненько сложив руки на коленях, сидит Мария Яковлевна Басова, надоившая от своей большой группы коров по четыре тысячи килограммов молока. Здешнее молоко ценится в районе, чистое оно, высокого качества, на сыры годится, на сметану для курортов. Десять тонн ежедневно отправляет его колхоз в санатории и дома отдыха Северного Кавказа...

Не обходит Кочетов и недостатки. Десять тысяч гектаров посевного клина могли бы и побольше продукции дать, если бы во всех бригадах культура земледелия была высокой. Кирпичный завод недодал много

кирпича, а он очень нужен, сто тридцать человек принято в колхоз за отчетный период, люди новых домов ждут. Падеж поросят был, яловость скота пока не изжита полностью, горючего сэкономили маловато, трех самогонщиков оштрафовали, один человек исключен из колхоза за воровство и пьянку...

Критики и в прениях добавили. По залу то и дело прокатывался одобрителный гул, виновники ерзали в креслах, смеялись вместе со всеми, потом просили слова, чтобы дать объяснения.

— На работе объяснишься! — осаживал их председатель собрания. — Кто еще по существу хочет высказаться?

Говорили и по существу, и отвлекались, не следили за своим ораторством, потому что привыкли не языком работать, а руками, и за скромными словами людей, за колючими их репликами видны были бессонные ночи, заботы о добре народном, о земле и хлебе...

Во второй половине дня, закончив прения, лучшим колхозникам вручили грамоты и награды, талоны на внеочередную покупку машины «Жигули». И когда после всех процедур, после выступления секретаря райкома партии Ольги Ивановны Шаповаловой встал вопрос о кандидатуре председателя колхоза, Кочетов поднял голову и посмотрел в переполненный зал, где сидели бывшие коммунары, сто коммунистов и сто комсомольцев — ведущая сила хозяйства, молодые доярки и механизаторы, пенсионеры, фронтовики, товарищи его и помощники. Доверяют ли они ему снова шагать во главе такой колонны? Сбережет ли он традиции коммунаров, славу и честь «Коммунистического маяка»?

Долгими казались для Кочетова последние минуты, когда голоса считали. Постукивало сердце у молодого руководителя. Слово «единогласно» и шум аплодисментов он уже слышал как в тумане...

\* \* \*

В воскресенье мне надо было уезжать. Кочетов выкатил из гаража «Волгу», сам сел за руль: «Мигом в аэропорту будем». А повернул куда-то в сторону, на узкую колею, пробитую гусеничным трактором. Сегодня и здесь, у Горькой Балки, потеплело, всю весной запахло. Вот-вот откроется земля, задышит, сев начнется. Все уже к нему готово: и семена, и техника, удобрения с самолета распылены, машинами по полям разбросаны...

Мы остановились в степи на берегу пруда. Кочетов говорит, показывая рукой, что водное зеркало тут сорок гектаров, когда лед растает, прилетят сюда птицы, рыба начнет плескаться. А вон там дождевальные фрегаты видны, их шестнадцать штук, воды здешним полям много надо, без полива нельзя, в засуху без кормов останешься...

Я слушаю его, а сам поселок Коммунистический маяк вижу, вечный огонь у обелиска, фермы, собрание в Доме культуры, высокую фигуру Чухно и его музей, аллею в старом парке. И еще я думаю о том, что вот пройдут годы и, может быть, когда-то поставят памятник колхозному строю. Трудно сказать, каким он будет и где к небу взметнется. Может быть, вот в этих степях. А может, под Костромой где-то, в Смоленске, на саратовской или алтайской равнине. Это не столь уж важно. Важно, что он наверняка вберет в себя и образы первых коммунаров, целинников, вожakov деревни, хлеборобов всех возрастов и званий, которые кормят народ.

## ПОКЛОН ХЛЕБУ

От теплых южных морей подбирается к центру России весна. Кое-где уже грачи прилетели. Домовито ходят они по проталинам, радостным и озабоченным криком будят по утрам деревни. Сев скоро, начало сотворения нового хлеба, нового урожая...

В семенных складах и амбарах лежит пока этот будущий хлеб. В буртах и россыпью, за семью замками, при строгих охранниках и лаборантах. Хорошие хозяева не каждого и пустят в амбар. Как-то Андрей Васильевич Сучугов, Герой Социалистического Труда, знаменитый колхозный председатель с Рязанщины, повел меня показывать семенную элиту, а кладовщик закрыл своим телом двери, осмотрел нас придирчиво, велел обмести веничком обувь и в помещении уже, перед высокой горкой зерна, сказал раздумчиво:

— Не любит он чужого глаза... Пора у него сейчас самая важная...

Он — это хлеб. Как о живом существе говорил пожилой кладовщик о семенном хлебе. И когда я взял на ладонь немного пшеницы, то мне показалось, что в каждом зернышке, отливающим тусклым старым золотом, и в самом деле бьется живое нетерпеливое сердце. Положи его в теплую влажную землю, сдобренную всеми нужными «кормами», и задышит оно, проклянется нежным зеленым росточком, потянется к яркому солнышку...

Неповторима и прекрасна любая пора хлебной нивы. И осенние озимые, посеребренные первым морозцем. И дни апрельского сева, когда поля еще черны, наполнены тракторным гулом, и в перелом лета, когда над поспевающими хлебами вспыхивают беззвучные зарницы или, как у нас говорили в деревне, «стожары по ржам ходят». В это время зерно налитое густым клейким молочком, оно уже пахнет хлебом, и в голодные годы, в несчастья народные, люди иногда срывали с сотню самых спелых колосков, подсушивали на противне, поскорее мололи вручную...

— Девчушка шестилетняя, Настенька, личико синее, одни глаза остались, а в них глядеть страшно... Мама, говорит, хлебца мне тепленького хоть бы ручкой потрогать... А где его взять? Кругом фашист проклятый окружил нас, обездолил, осиротил, все до крошки из хат повымел. А в поле, где полоска пшенички подходила, пушки у немца стояли, солдаты кругом. Но мы ночью подползли с Настиной матерью и к утру хлебец такой маленький на угольках испекли, да опоздали, вишь, малыню. Настенька-то уж есть не могла, хлебец этот на грудь себе положила и умерла с улыбкой... Я много смертей видела, мужа и сыночка при мне расстреляли, а как вспомню голодные глаза Настенькины, улыбку ее предсмертную, сердце так и заходится. Мама, говорит, хлебца мне тепленького...

Акулина Алексеевна Простакова, рассказавшая мне про это, живет за Смоленском, на берегу Днепра, у бывшей Соловьевой переправы, где шли жесточайшие бои. Слушая старую крестьянку, я невольно вспоминал тогда свои горьковские места, село родное и хлеб, который так хорошо печка моя мать. С малых, еще дошкольных лет в наших ребячьих душах как бы сами собой копились уважение к хлебу, святость к нему и к тем, кто его вырастил, пышными караваемы подал на стол. До войны мы пшеничного хлеба почти не знали, мать больше ржаной печка, два раза в неделю в железных круглых плошках или на поду. Когда мы просыпались утром, то пять высоких караваев стояли уже на чистой, выскобленной косарем скамейке и «дозревали», укрытые полотенцем. Запах хлеба вытеснял все другие запахи, заполнял не только избу, но и в сени проникал и на улицу. Гуляя по деревне, всегда, бывало, знаешь, у кого сегодня пекли хлеб: у Курицыных ли, Барановых, Флорентьевых. А когда обедать садились, то отец резал каравай не так, как сейчас режут, а с прислоном к груди и всегда стоя, со строгостью на лице, собирая крошки в ладонь. Иногда, в летнюю горячую пору, и нам, ребятишкам, доверяли вынимать хлебы из печи. Уходя на сенокос или на жнитво, мать разбудит меня, старшего, и скажет, показывая на часы:

— Когда маленькая стрелка вот сюда подойдет, а большая вот сюда — вынимайте...

Нет, пожалуй, поэта, который не писал бы о хлебе. И песен про него много сложено, поговорок народных. Но сколько ни воспевай хлеб, сколько его ни славь, все будет мало.

\* \* \*

Говорят, что нет вкуснее нашего хлеба. Это правда. Особенно московской выпечки, только что привезенный из пекарен и заводов, еще горячий, дышащий неповторимыми ароматами и сытостью. Тут и булки разные, посыпанные маком халы, хлеб ржаной, «бородинский» и «орловский», бублики, которые расхватывают мгновенно и часто едят тут же, на улице, как мороженое или конфеты.

А паляница украинская, с треснутой от печной жары хрустящей коркой? А калач саратовский, сжимающийся подобно мехам гармонии?

Года три назад я был свидетелем, как корреспондент Центрального радио брал интервью у молоденькой японской балерины. На вопрос, что ей больше всего понравилось в Москве, милая застенчивая японочка ответила не сразу. Она заулыбалась как-то виновато, обвела всех нас своим проникновенным взглядом и сказала:

— Кыреп. Русска кыреп...

Ах, хлеб, русский хлеб ей понравился. Она даже ночью просыпалась и отщипывала его по кусочку и с собой вот в Токио везет аж два «кырепа»: круглый и кирпичиком...

Хлеб нам нелегко достается, а цена его дешевая. Дешевый доступный хлеб — это одно из величайших завоеваний Советской власти. Старая Россия, крестьянство ее, никогда не было сытым круглый год. В одних губерниях хлеба еле до рождества хватало, а в других — до масленицы. Нищие бродили по дорогам, кусочки собирали. Народ накормили колхозы. Нельзя сказать, что сейчас у нас хлеба с избытком и повсюду он так вкусен и разнообразен, как в столице, в крупных миллионных городах. Не везде еще пекут калачи и бублики, паляницы украинские, но простой, обыкновенный хлеб, который мы больше всего и любим, есть везде и в достатке, несмотря на плохие погодные условия при его выращивании, на разные трудности. Наша держава хлебная. Колосья пшеницы и в гербе нашем. Забота о хлебе у нас одна из основных забот. И нестерпимо горько бывает, когда этот незаменимый святейший продукт кое-где не берегут как следует, а то и губят, теряют.

Всегда неловко чувствуешь себя, когда видишь брошенный на землю хлеб. И совсем уж не по себе делается от того, что проходят мимо люди и редко кто в сторону валявшегося ломтя посмотрит, а не то что поднимет бережно и в урну положит, чтобы хоть с детских глаз подальше...

На лыжной прогулке как-то заметили мы свежий ребристый батон. Проткнутый сучком ели, он висел над снегом, и два окурка вдавлены были в его желтоватое подрумяненное тело.

— Эх, знать бы, кто это сделал, — нахмурился мой товарищ. — Пятнадцать суток отсидел бы за хулиганство, а плюнул бы в сытые рожи тем молодым стервецам...

— А почему ты думаешь, что молодые тут пировали?

— Ну, смотри: на одном окурке губная помада, бутылки пустых с десяток вон раскидано, хлам у костра...

А сколько выбрасывается хлеба из окон вагонов, в мусоропроводы многоэтажных домов и просто на помойку. Слышу недавно разговор двух солидных женщин в городском парке, ведущих за собой здоровенных, с доброго теленка псов.

— Ты замечаешь, Натали, что собаки теперь совсем почему-то перестали есть хлеб? Подавай им что-то такое...

Возле пруда, в этом же парке, у подтаявших закраин, плавали куски и корки, набросанные еще осенью, когда тут жили утки. Под ветлой на скамейке сидела бабка с пятилетним внуком и вокруг них копошились ленивые обженившиеся голуби. И бабка крошила булку, и мальчик тоже крошил. Нет бы остатки какие, отходы, а то лучшую витуку сдобу.

— А бог не накажет вас? Так, кажется, раньше говорили, когда видели, что хлеб зря переводят.

Бабка засовестилась, глянула на меня виновато, остаток булки сунула в сумку и у внука отобрала. И проговорила потом, оправдываясь, что не чужое, мол, за свои деньги купленное, вон его, хлеба, сколько, не жалко, не голодный, чай, год и не война...

Можно в какой-то степени простить старую женщину за отсталое рассуждение, но когда подобное слышишь от виновников хлебных потерь не «голубиных», а потерь и расточительства в тоннах, в целых буртах и вагонах, то жалеешь, что нет бога, который бы хоть морально, «по-небесному» наказывал, потому что в иных организациях, кроме бога, и покарать-то некому, сквозь пальцы смотрят там на утечку зерна из всех видимых и невидимых щелей. Путь к элеватору в некоторых районах можно найти по желтой пшеничной дорожке, которая к концу уборки превращается в широкую хлебную дорогу. Не помнится случая, чтобы какие-то контролеры на какой-то трассе скрупулезно подсчитали просыпанное зерно, определили бы его стоимость и предъявили иск конкретному виновнику, оповестив об этом все местное население. Виновник частенько общий, невидимый, безымянный, а значит, как бы и нет его вообще...

О бережном отношении к хлебу мы погромче и пошире начинаем говорить обычно в уборочную страду, а потом подзабываем об этом, свертываем «кампанию». Пошумели одно время о сборе пищевых отходов в городах, ведра с крышками завели и кое-где бросили все это. Медленно продвигается дело и с мелкой расфасовкой хлебных изделий. Редко увидишь даже в столичной булочной рекламу и плакаты, где бы говорилось, что можно сделать из черствого хлеба и сухарей и как это приготовить, о большой пользе таких продуктов. Помню, у нас дома ни одна корка не пропадала. Квас мать делала, в щи и в похлебку сухари клала. С сухарями даже вкуснее казалось. Особенно зимой, после мороза...

И вообще все хлебное никакими продуктами не заменишь. Недаром на праздники почти повсюду пироги пекут, пышки. У каждого народа есть что-то свое, национальное в хлебе: у армян тонкий душистый лаваш, в Узбекистане пресные пшеничные лепешки, а в Латвии такие круглые подовые ковриги из ржаной муки грубого помола и с черной жесткой коркой — хоть топором руби...

Не подберешь нужных слов, чтобы отблагодарить тех мастеров, которые испекли такие хлеба, а также людей, посеявших зерно. За караваями и лепешками стоят ученые — селекционеры, академики, которые всю свою жизнь положили на создание одного-двух сортов пшеницы. Стоят миллионы агрономов, трактористов и комбайнеров, шоферов, современных наших крестьян, которых мы называем таким емким знакомым словом — хлеборобы. Часть из них, где-то на юге, уже выехали в поле, уже сеют, а другие начеку, последние гайки подвертывают, моторы проверяют. Подсохнут поля, пообдует их ласковым ветерком, и двинут они всей армадой, от темна и до темна не выходя из кабин, обедая в борозде, ночуя на полевом стане. Этой весной надо здорово поработать, часу нужного не упустить, огреха не сделать. Последние годы подсекли нас изрядно, то огнем все палило, суховеем страшным, то так заливало, что гусеничные трактора буксовали. Хлеб надо бы взять и за те недороды и основной план перевыполнить, все закрома доверху засыпать. Много нам надо хлеба, очень много. Чтобы и самим весь год досыта прокормиться, и запастись сколько надо, и друзьям своим помочь.

\* \* \*

Недавно я получил телеграмму из Саратовской области, из села Баскатовки: «Встречай аэропорту, везем каравай хлеба». Радостно забилося у меня сердце, встали перед глазами необъятные поля саратовского левобережья, где растет замечательная «стеклянная» пшеница. Там я познакомился с колхозным бригадиром Овсянниковым, героем, мастером урожаяев, проехал вверх по Волге до Подлесного, ночевал у комбайнов в степи, где меня угостили таким домашним местным калачом, что вкус его и по ночам потом снился.

И вот такой же каравай привезли мне друзья. Поставил я его на стол, люблюсь, нюхаю, и резать жалко. Сухая горячая степь вспомнилась, волны пшеницы, свежая солома на стерне, падающие августовские звезды, огни машин, булка на сучке в зимнем лесу, молоденькая японская балерина, которой «русска кыреп» понравился, шестилетняя Настенька с легендарной Соловьевой переправы... Я будто бы голос ее живой услышал:

— Мама, хлеба мне тепленького...

И схватило спазмой горло... Бросить хоть крошку на землю, хоть сухарь какой... Пусть у того рука отсохнет...

И еще две строчки стихов ясно в памяти всплыли:

Быть выше хлеба человек не может,  
Пусть даже самый главный на земле...

## ВКУС КАРТОШКИ

— А я так скажу, товарищи дорогие: особый она продукт, картошка-то. Особый и самый что ни на есть родной. Во все беды она народ выручала. И в войны и в недород. Опять же и по вкусу: все надоест, а картошка никогда. Эх, да что там...

Старик, которого мы взяли к себе в машину на Рюховском повороте, ведущем в Стародуб, глубоко вздохнул и умолк, как бы обидевшись на то, что ему приходится говорить такие понятные слова. Он был коренным брянским жителем, где картошка издавна считается не вторым хлебом, а, пожалуй, первым: и любят ее здесь, и сажают помногу, и выращивать умеют. Куда ни глянь от дороги, всюду картошка. Промелькнет небольшая грядка гречихи, зазеленеет кукуруза, воспрянувшая после теплых обильных дождей, и снова, радуя глаз, тянутся картофельные поля. Сейчас, в августовскую пору, все выглядит красиво: и малиновые клевера, и травы, готовые для второго укоса, скирды свежей соломы, лопушистая свекла. Но картошка выделяется даже среди такой броской красоты. Есть в ней, помимо полезности, еще и особая привлекательность, теплота и поэзия: эти длинные аккуратные борозды, ее нежное цветение, густой земельный запах. Окрашены природной прелестью и дни картофельной страды. Рыть ее начинают почти всегда в пору бабьего лета, когда тронет позолотой березовые рощи и потянутся на юг косяки журавлей. С детства помнится эта неделя ранней осени, костры в ближних лесочках, вкус испеченной на углях картошки...

Да, поэзии в картошке много, но еще больше в ней, пожалуй, деловой рабочей прозы. Вернее, в уборке ее, в заготовке. Ни одна культура не требует такой обязательной «мобилизации» полчищ людей, не вызывает столько упреков и слез, как картошка. Каждый год, в конце августа, по всей, наверное, России начинается «картофельная кампания»: сердито верещат телефоны, срывают голос секретари райкомов, отбиваются как могут от разнарядок директора заводов, строек, институтов, школ, автохозяйств. А что делать? Картошки нам надо уйму, а сухая осень так коротка, в любой день задожжит, а то и снег выпадет, и при недостатке транспорта и вообще современных хороших картофелеуборочных машин порой вся надежда на город, на его людей...

Озабочен был всеми этими вопросами и Евгений Иванович Сизенко, первый секретарь Брянского обкома партии, когда мы беседовали с ним о картошке. Картофельное поле здесь огромное — почти сто двадцать тысяч гектаров. А если и приусадебные участки приплюсовать, то за сто семьдесят тысяч перевалит. Ну, за домашние огороды горевать нечего, тут каждый клубень в ладонях обсушат да и помогают теперь в колхозах неплохо, особенно людям пожилым, пенсионерам. А вот как основной-то клин выкопать? И без потерь бы,



в срок засыпать семенные хранилища и рассчитаться с государством. В этом году области надо продать, согласно обязательствам, без малого восемьдесят тысяч тонн. Брянскую картошку, элитную, семенную и продовольственную, ждут в пятидесяти городах и поселках. Сейчас она, напитавшись влагой, быстро наливается, отходит от майского и июньского зноя, когда не упало ни одной капли дождя. И как только она созреет, девятьсот пятнадцать механизированных звеньев дружно начнут копку. Прошлой осенью больше половины картофельных площадей области было убрано комбайнами. А в эту страду механизация повысится. Да и звенья пополнились новыми работниками, много молодежи пришло, вернувшихся со службы солдат...

Все картофелеводы области на особом учете, звеньями постоянно занимается обком партии, в районах персонально утверждается каждый механизатор, не говоря уже о звеньевом. И это правильно: механизированные звенья решают судьбу картошки. Сильнее звено — меньше городского люда на полях, дешевле продукт, почти нет потерь...

В одном из механизированных звеньев мне захотелось побывать. Выбрал я самое дальнее: совхоз «Воронокский», Стародубского района. Там, в селе Лужки, на самой границе с Украиной, живет звеньевая Людмила Федоровна Новикова, депутат Верховного Совета страны. А рядом с ней, почти через межу, в совхозе «Красный Октябрь», работает еще один знаменитый картофелевод, Герой Социалистического Труда Николай Иванович Солодун. Может, и в его звено заглянуть удастся. Неплохо бы. Тем более, что Новикова и Солодун ревностно следят за делами друг друга, делятся опытом...

\* \* \*

Лесная брянская земля... Приятно ехать по ней в тихие утренние часы. Деревни встречаются здесь не часто, они довольно крупные, в каждой сады, прогибаются ветки от яблок, ульи виднеются меж стволов, стоят вдоль заборов рябины, а за селениями, по луговинкам и по хлебной стерне, пасутся гуси, целые стада сытых, тяжелых гусей. Это хорошо, когда сельский житель не только картошкой богат. Очень хорошо...

В Воронке, в центре совхоза, зайдя в контору, увидели мы такую картину: стоят вокруг стола трое мужчин и, не обращая на нас внимания, поднимают по очереди сложенную на газете грудку картошки, определяя ее вес. Это были секретарь совхозного парткома Медведев, главный инженер Филимонов и Николай Иванович Солодун. Тот самый звеньевой Солодун из «Красного Октября», к которому я потом собирался. Он, оказывается, только что приехал, хочет перед уборкой «кое-что поразведать», повидаться с Новиковой.

— Да чего тут прикидывать-то,— говорит Солодун, принимая из рук Иосифа Евтеевича Медведева газету с картошкой,— шестьсот грамм верных будет, даже с походом...

— Так это ж куда тянет, братцы? — радостно вскидывает глаза Медведев.— Куст я не выбирал, средний вытащил, вы свидетели. Это ежели на гектаре самое малое, с учетом гибели, пятьдесят тысяч кустов, то выходит... Так, множим... Три ноля долой... Еще два ноля...

— Триста центнеров будет,— подсказывает главный инженер.

— Совсем неплохо,— замечает Солодун.— А за три недели клубень еще поднальется. Это что у вас, «лорх»? Не самый урожайный сорт, но ничего. Да и кустов на гектаре на других участках побольше. У той же Новиковой пятьдесят пять тысяч, как мне известно...

Солодун считает, что при любой культуре семена — главное, тем более при картошке. Выступая с трибун и в печати, он всегда повторяет три основных положения: сорт, удобрения, правильная агротехника. На его участке хорошо идут сорта «гатчинский» и «мечта». А вообще он любит испытывать семена, подбирая для своей земли лучшие. Ведь все поля разные: там, глядишь, «лорх» прижился, а у соседей «темп», «лошицкий». В прошлом году Солодун накопал по триста тридцать четыре центнера с гектара. В звене у него четыре человека, а если подчитать, что Николай Иванович работает за троих, то будет семеро — так про него говорят в районе. А Новикова взяла со своего участка по двести пятьдесят девять центнеров. Это чуть выше совхозных показателей, которые составили прошлой осенью двести тридцать семь центнеров. А в «Красном Октябре» на круг по триста три центнера вышло. Район взял сто восемьдесят два, а область сто тридцать два центнера...

— Это еще не урожай, если строго-то подходить,— говорит Солодун, надвигая кепку на самые глаза.— Наш район, к примеру, под триста центнеров может собирать. И это будет. Да что там район, вся область, все российское Нечерноземье урожая поднимет. Земля для этого подходящая, примеров сколько угодно, только не ленись. Сама жизнь заставит картошку-то поскорее двигать, она и хлебу подспорье и корм для коров молокогонный...

Наш «ученый» разговор нарушил телефонный звонок из Лужков: «Ну где там Солодун, его Новикова ждет». Мы тут же выехали. Медведев сказал, что до села верст семь всего, а спидометр уже тридцать четыре километра накрутил, и никаких домов не видать. Напрямую дорога очень плохая, пробираемся объездами, по опушкам сосняков. По жнивью. А утром, перед Воронком, мы зарылись в такие колдобины, что грузовик нас еле вытащил. И не в поле сели, не в лесу, а посреди деревни Солова. Вот он, бич-то наш: вырастим, соберем, а до места доставить порой трудно — по всем брянским проселкам,

в стороне от шоссе, в ненастье только на тракторах и пролезешь...

Людмила Федоровна Новикова встретила нас на машинном дворе. Поздоровавшись с Солодуном, она прямо с ходу, без предисловий, попросила у него какую-то звездочку в двадцать четыре зуба.

— Вот это обмен опытом! — засмеялся Николай Иванович и принялся ругать промышленников, которые поставляют селу еще неважную картофелеуборочную технику. Местным рационализаторам часто приходится что-то доделывать, забивать кувалдой болты, заново изобретать разные приспособления к погрузчикам, к сажалкам и комбайнам. И запасных частей мало, сломается в борозде машина — и хоть плачь, выклянчивай у соседа то флянец, то подшипник какой.

— Найдем тебе звездочку в двадцать четыре зуба, приезжай, — обещает Солодун. — Так уж и быть, выручу...

Они чем-то похожи друг на друга, эти два знаменитых картофелевода. И Солодун и Новикова примерно одних лет, рост у них одинаков. Но не это главное. Делает их похожими скорее всего целеустремленность, подтянутость, интерес и любовь к делу, которые так и сквозят в каждом их движении. Я наблюдаю, как они ходят по участкам, трогают ботву, перетирают почву в ладонях, рассуждают и спорят, говорят об удобрениях, о методах посадки, об окучивании, о сорняках и химикатах. Смотрю я на них и думаю: ох, как нелегко даются высокие показатели! Вот уж все вроде известно, как картошку вырывать, тысячи книг написано, плакаты есть, инструкции, фильмы, но почему-то на той же брянской земле, при одних, собственно, условиях такой разницей в урожаях. У одних за триста центнеров, а другие и ста не накапывают. К инструкциям, машинам и книгам еще ум нужен, талант, рвение, сметка крестьянская...

Новикова уже восемь лет руководит звеном. А до этого работала трактористкой. Сначала у нее в звене были одни женщины, а сейчас половина на половину. Нина Ляхина сама теперь звеньевая, выросли, выдвинулись и другие ее подруги. Она в звено мужа своего, Федора, взяла Михея Еремеевича Новикова, Ковалева Павла Евпсиховича, Дмитрия Тимофеевича Кузнецова. Из старых Шура Боброва осталась да Мария Шалыгина. Коллектив дружный, живут душа в душу. Это Людмила Федоровна их так сплотила, мастер она на это. Любую машину водит и с людьми ладить умеет, всегда веселая, боевая, душевная. Недаром и депутатом избрали. Дома у нее двое детей, старшая дочь уже трактор водить умеет. И с хозяйством личным она успевает управляться и нагрузки общественные исправно несет. Но главная ее забота — это звено, картошка, сто тридцать гектаров земли пятой категории. Пятая категория — это самая плохая. У Солодуна почва второй категории, потому и результаты повыше. Не только в качестве земли, конечно, дело, Солодун поопытнее Новиковой, из мастеров мастер, но Людмила Федоровна не унывает, собирается обогнать его.

— Годика через два поглядим, чье звено районную-то сводку открывать будет,— улыбаясь, говорит Новикова.— Мы еще поглядим, дорогой Николай Иванович...

Но Солодун такими штучками не прошибешь, он, чувствуя свою силу, только посмеивается:

— Ты уж лучше своего украинского соседа товарища Гергеля обходи. Ты же с ним официально-то соревнуешься, а не со мной. А вообще я вызов принимаю...

— Вот и хорошо, что принимаешь. И спасибо тебе за приезд к нам.

— И за подсказки спасибо,— добавляет Нина Ляхина.

Стал накрапывать дождь, и мы все поспешили к машинному двору, укрылись в пропахшей бензином каморке бригадира. Чуть было засохшая грязь опять раскисла, и на двор без резиновых сапог лучше не суйся. Техника мокла под открытым небом. Так и зимой она стоит. Нет даже легкого навеса, который бы хоть как-то укрывал дорогие машины. Не подведена к стану и вода, ее возят в бочках. Зимой, на морозе, трактор завести трудно, даже в варежках руки стынут, особенно у женщин...

— Что же это вы крышу-то не возведете? — спрашивает Солодун.— Оно хоть и железо, а портится...

— А вы в теплых гаражах зимуете, да? — интересуется Михай Еремеевич.

— Нет, нас тоже небо укрывает...

— Нехорошо. «Красный Октябрь» побогаче нашего-то совхоза...

Дождь припустил еще сильнее, и Новикова, озабоченно поглядывая на поля, сказала, что вот опять землю коркой покроет, четвертое рыхление придется проводить. Картошка дышать должна, ей кислорода много требуется. И Солодун завздыхал, стал собираться домой. Болит у них сердце о деле: не прозевать бы чего, час нужный в работе не упустить...

\* \* \*

В Брянске, осматривая этот замечательный город, построенный почти заново, я подумал: а как тут торгуют картошкой, довольно ли население? А то ведь у нас бывает, что сапожник без сапог ходит. Район, смотришь, арбузный или яблочный, а ничего этого нет в магазинах. Или мало, или такого качества, такого товарного вида, что глянешь, покачаешь головой и на рынок потопашь...

В центре города выбрал я овощной магазин номер двадцать четыре. Стоит небольшая очередь, берут капусту, огурцы и помидоры. А картошки что-то и не видать. Есть ли уж она?..

— Есть, есть картошка, сколько угодно, круглый год,— сказала Анна Степановна Тихонова, заместитель директора.— Сейчас и одной

тонны за день не разбирают... Скороспелка, двадцать пять копеек кило. А зимой шесть или восемь копеек. Жалоб не имеем...

Торговые работники, конечно, не обманут, но лучше и с покупателями посоветоваться. Останавливаю в дверях типичную домашнюю хозяйку с двумя сумками в руках, спрашиваю о картошке.

— Всегда она есть. Много ее. Но получше бы да почище...

От ходьбы по овощным точкам, от всех этих разговоров мне захотелось картошки. Разварной бы, с огурчиком малосольным и чтобы листики укропа видны были. В Смоленске, помню, было кафе «Картофельные блюда». Сейчас его что-то не видать. Может, в Брянске есть такое, все-таки область-то картофельная. Нет, не нашел я здесь такого кафе. А жаль, что его нет. Картошку выращивать умеют, а угостить ею приезжего человека — не организовано. Больше сотни блюд, говорят, из нее готовят. Одни белорусские драники чего стоят. Прав старик, что ехал с нами в машине: все надоест, а картошка никогда.

## ПРАЗДНИК В ЛЕНКОРАНИ

Начало зимы, а в Прикаспийской Ленкорани еще висит айва, краснеют поздние яблоки и розы всюду свежи, как в мае...

Сегодня здесь большое событие — Праздник урожая, и улицы городка с самого утра запружены нарядной говорливой толпой. Этот веселый людской поток, обтекая только что открывшееся просторное здание базара, плывет к стадиону, заполняет его вместительную гулкую чашу. На базаре и вокруг него дымятся жаровни, распространяя вкусные ароматы, в корзинах, в ведрах, в глиняных кувшинах и просто на ковриках лежат свежие мандарины, фейхоа, гранаты, алыча, виноград, но люди проходят мимо. Главное сегодня не базар, а праздник урожая, стадион, который уже гудит тридцатитысячным человеческим гулом, алеет знаменами, национальными костюмами девушек и парней, пестреет дарами земли ленкораньской...

Вот уже несколько лет подряд по всему Азербайджану катится добрая молва о ленкораньских Праздниках урожая. Они стали поистине народными. Честь и слава труду — вот их смысл. На глазах почти всего района человеку, обогнавшему других в работе, вручают дорогой подарок, перечисляют все его заслуги, поют для него любимые песни. Все это очень трогает людские сердца, воспитывает, вызывает уважение к упорству и умению, к мозолистым прилежным рукам. Недаром на праздниках каждый раз звучат стихи народного азербайджанского поэта Самеда Вургунa:

— Человек — это все. Он властитель земли.

— Без него и заря не горит с вышины.

В этом году Героев Труда больше, чем когда-либо. Почти семьсот человек прошагали по стадиону с премиями. А всего награжденных — за шесть тысяч. Иса Алиевич Мамедов, первый секретарь Ленкораньского горкома партии, перед началом праздника назвал мне некоторые цифры нынешней осени. Планы перекрыты по всем показателям. Много продано и чайного листа и винограда, цитрусовых, молока, мяса, яиц и особенно овощей. Овощи — это марка района. Марка и гордость. Не так-то легко было сделать из Ленкорани «всесоюзный огород». Но сделали. Тут и сам Мамедов постарался. Шесть лет он всего в районе, а у каждого такое чувство, что тут и родился Иса Алиевич. Обязателен он и честен, талантлив как организатор, разносторонне образован, с детства при земле, в работе, сельским учителем был, вожак комсомольским. Со всеми, пожалуй, он знаком в районе, легко с ним и просто каждому. Вон как машут руками со стадионного круга. Машут и улыбаются. А здешние крестьяне фальшивить не умеют: что на душе, то и в глазах, на языке...

Шумит праздник, рекой льется. Песни сменяются танцами, выходят к микрофону ораторы, мужчины и женщины, седые аксакалы, со следами летнего зноя на лицах, возбужденные и робкие, и некоторые из них всю свою речь умещают в одну или две фразы: вырастил столько-то, выращу еще больше...

— Солмаз! Солмаз Алиева говорить будет! — пронеслось по рядам.

— Наша Солмаз — на всю Ленкорань лучший овощевод, — поворачиваясь в мою сторону, уважительно говорит Мамедов. — Звеньевая, Герой Социалистического Труда, депутат... Такой, понимаешь, мастер, такой хороший человек...

\* \* \*

Солмаз Алиева работает в совхозе имени Балаоглана Аббасова. В войну под Сталинградом гремело такое героическое имя — Аббасов. Вот в честь него, в честь этого храброго солдата из Ленкорани, и назвали земляки совхоз. А центральная усадьба здесь, где все хозяйственные службы находятся, — Кенерамеша.

Очень современное село эта Кенерамеша. И не село, пожалуй, а городской поселок: так много тут всюду солидных больших зданий. И чуть ли не у каждого дома «Москвич» стоит или «Жигули».

— Неужели все ваши? — невольно вырывается у меня вопрос.

Директор совхоза, молодой и высокий Тофик Баги оглы Алиев, с минуту идет молча и, склонив голову, поглядывает на меня сверху как-то сожалеюще, потом вдруг резко останавливается и говорит быстро и обидчиво:

— Зачем удивляешься, дорогой? У нас всего сто тридцать одна машина. Каждая семья «Жигули» купит, только дай, забрось, пожалуйста!

— А эти все здания когда построили?

— За десятую пятилетку. И три школы, и баню, гараж, библиотеку, красавец этот Дом культуры, медпункт, магазины, пионерлагерь, жилье — все за десятую пятилетку. И машины в эти же годы купили. Народ хорошо работает, хорошо и получает...

— А какая у вас культура больше дохода дает?

— Овощи, дорогой, овощи. Других культур не имеем. Специализация, по науке дело ведем, по два урожая в год научились снимать...

Тофик Баги оглы ведет меня на участок звеньевой Солмаз Алиевой и образно, по-южному горячась, рассказывает о своем хозяйстве, типичном, кстати, для всей овощной Ленкорани. Пришел он сюда в начале девятой пятилетки. В это время уже закладывалась в районе овощная база. Первый секретарь горкома Мамедов приезжал в Кенерамешу чаще, чем в другие хозяйства, и поторапливал, требовал, помогал: совхоз ближе всех к городу, к железной дороге и должен показать пример, хватит плестись черепашным шагом. Это ведь стыд и позор собирать каких-то три-четыре тысячи тонн овощей.

— А больше и не вырастет, начальник, — слушая Тофика Баги оглы, хмуро говорили старики. — И на своем огороде, гляди, столько же капусты, огурца берем. Товарищ Мамедов тебя зря ругает... Овощ — штука дешевая, не поднимает овощ совхоз...

Скорей всего аксакалы еще не доверяли молодому директору, потому так и говорили: «Сам городской, земли, видать, мало нюхал да и прыткий больно». Но Тофик Баги оглы свое дело знал и верил в него. Стал он смело выдвигать на звенья и бригады самых работающих и опытных людей, таких, как Мамед Рза Расулов, Гаджи Алиев, Юсиф Касимов, Солмаз Алиева. Свезил он их в хозяйство, где овощи уже давали приличные урожаи, позаботился об удобрениях, культуру земледелия вводил по лучшим образцам, поощрял передовиков, всенародно стыдил лентяев, на комсомольцев опирался, на коммунистов. И пошло дело. Не может оно не пойти, если все этого захотят...

В первое же лето совхоз отгрузил около десяти тысяч тонн овощей. И так с каждым годом была весомая прибавка, накапливался опыт. Уже все знали, что с овощами надо поторапливаться, раньше их продашь — больше получишь. Каждый час на уборке экономили. Ленкоранские помидоры, огурцы и капусту ждали на Севере, на Урале, в Сибири. Как приятно в конце марта, когда чуть ли не по всей России еще морозы трещат, подать к столу свеженькие огурчики, и не парниковые, а только что с грядки, пахнувшие солнцем, такие аккуратненькие, с пупырышками по бокам. Или помидоры, укроп, лук массалийский с полкилограмма луковица, капусту сорта «лигушка», сочную и сладкую, годную хоть в щи, хоть в засолку. И осенью тоже, в конце ноября, весь этот набор овощей Ленкорань в крупные города поставляет. В этом году совхоз отгрузил уже около двадцати тысяч тонн. С каждого гектара по четыреста центнеров взяли.

Денежный доход — за семь миллионов рублей. Одна чистая прибыль — три миллиона. Вот тебе и овощ — «штука дешевая». А ведь земли в совхозе всего четыреста восемьдесят гектаров. И больше ее не будет, все до сантиметра распаханно, залежей нет. Надо урожайностью брать, качеством, сроками. Вон у Солмаз Алиевой по пятьсот двадцать центнеров с гектара урожайность...

— Там, за той дорогой ее участок, — говорит Тофик Баги оглы. — Мы Солмаз еще за работой застанем...

Он так крупно шагает, что я еле успеваю за ним. То почти бежит, то останавливается, заговаривая с людьми. Поговорит по-азербайджански, а мне потом переводит: «Из Сыктывкара телеграмма пришла, торопят с отгрузкой», «Завтра три свадьбы у нас, из города комсомольцы поздравлять придут». На улице тепло и идти очень приятно. Откуда-то слева, из-за лавровых зарослей, ветерок доносит влажный запах Каспия, а впереди синеют горы. В одном месте шла уборка капусты, и бригадир Юсиф Касимов по просьбе директора выбрал крупный литой вилок, срубил его, ловко отделил верхние листья и отрезал нам по крупному ломту. Юсиф так и заулыбался, когда мы с Тофиком впились в капусту и стали хвалить ее...

В одном месте рубили капусту, а рядом, на другом поле, садили. Тут как раз и было звено Солмаз Алиевой. Солмаз в легкой фуфайке, темные волосы у нее перехвачены красной косынкой. Посадка шла полным ходом. Солмаз брала из ящика рассаду и опускала ее в узкую ямку, проделанную Гульнаным Гасановой. Урожай Солмаз убрала еще неделю назад, а теперь вот новый закладывает. По всей плантации стоят колья и натянуты веревки. Это чтобы рядки были ровными. Надо знать, какую ямку проделать, как растеньице устроить и заделать, укрыть землей. Солмаз на все это тратит секунды три, кажется, не больше. Тренировка и опыт у нее исключительные. А обработка посевов уже будет вестись механизированно, на участок машины придут. Земли у Солмаз тринадцать гектаров, народу в звене двадцать пять человек. И работницы все как на подбор: молодые, красивые, ловкие, как и сама Солмаз Алиева. Помимо капусты и помидоров, звено выращивает еще лук и чеснок. Забот с овощами много. Прозевашь подкормить вовремя, окучить, от вредителей поле обезвредить — собирать будет нечего.

— Первое время даже муж ревновал, куда жена пропадает, — показывает в смехе свои белые зубы Солмаз. — А сейчас привык, сам помогает мне...

Муж у Солмаз шофер, самосвал водит. Зовут его Сохраб. У них дочь и сын, Назиля и Саясат, еще в школу не ходят. У Солмаз семь сестер и четыре брата. И все тут живут, на ленкораньской земле.

В семье Солмаз скоро новоселье, новый дом достраивают. Они в него уже въехали, но новоселье не справляли. Солмаз пригласила нас к себе, посмотреть. Дом двухэтажный, из камня, с верандой на теневую сторону и вроде бы без окон: здесь, на жарком юге, так строят.



Мне хотелось разговаривать Солмаз, узнать о ней побольше, а она только улыбалась и отвечала коротко: кивнет головой и все. Кивнет и улыбнется.

— За нее, дорогой, дела говорят,— сказал Тофик Баги оглы.— В делах она у нас очень даже разговорчива. Большой город овощами кормит! Крупный, понимаешь, город... Как это? Звучит?



На второй день у Исы Алиевича Мамедова планировалась поездка на реку Башарю, на плотину и на водоразборный узел, и он взял меня с собой. Дорога шла красивой долиной. На пологих склонах гор были сделаны террасы: тут посадят мандарины. Каждый клочок земли в Ленкорани должен что-то давать. Благодатная здесь земля, дорогая, гулять она не должна...

Плотина огромная. Она уже готова, вот-вот начнут заполнять котлован. На столбе прибит плакат: «Ленкорань дала в этом году сто шестьдесят тысяч тонн овощей, а с пуском даст двести пятьдесят тысяч!»

— Заделы у нас хорошие,— говорит Мамедов, записывая что-то в блокнот.— Новая пятилетка преобразит Ленкорань. Важно было сдвинуть дело...

А вечером мы пили чай в Кенерамеше, в настоящей сельской чайхане. Чайхана уже ветхая, ее скоро сломают. А аксакалам жалко с ней расставаться. Очень уж тут уютно, пахнет древесным дымком от двух пятиведерных самоваров. На столах комковой, мелко колотый сахар. Фарфоровые заварные чайники с петухами. И мальчик Кабиль, помогая отцу, щедро насыпает азербайджанский чай, льет крутой кипяток и подает старикам. А те уже сами наполняют грушевидные, тонкого стекла стаканчики, которые зовут здесь армуды, и неторопливо, со вкусом пьют. Пьют аксакалы и говорят о земле, о детях, о том, что этой осенью много гуся на зимовку в лагуны летело, значит, к добру это, урожаю, значит, хорошему быть...

А рядом в новом Доме культуры гремела музыка. Парни и девушки шли на танцы. Ведь еще продолжался в Ленкорани Праздник труда и урожая, еще шумел в каждом совхозе...



Перед новым годом, просматривая газеты, я узнал, что первый секретарь Ленкораньского горкома партии Иса Алиевич Мамедов стал Героем Социалистического Труда. У меня даже сердце учащенно забилось от радости: всегда ведь приятно, когда хороший, работающий

человек, да еще твой знакомый, получает награду. И не простую награду, а самую высокую — почетное звание Героя Социалистического Труда...

Я тут же заказал Ленкорань. Сижу, жду у аппарата, перебираю в памяти недавние азербайджанские встречи, Ленкорань, поездки по ее благодатной земле. Очень много в Ленкорани молодежи на всех участках. И среди руководителей, специалистов сельского хозяйства люди в основном молодые, с высшим образованием, опытные, деловые, современные.

Директор совхоза «Аврора», например, Саяд Курбанович Касымов, агроном-субтропик, свое дело знает до тонкости, чай, мандарины, фейхоа, лавр, лимоны — это его, как говорится, стихия, тут он профессор, не зря подряд три года совхоз знамена получает. Горком партии кадровую политику ведет правильно, смело выдвигает в руководители молодежь, специалистов, умеющих работать с людьми...

Ну вот, наконец, звонок телефона... Дают Ленкорань.

— Алло, это горком партии? Мне бы товарища Мамедова.

— Товарища Мамедова нет в кабинете, — отвечает дежурный. — Он был на пуске плотины, а оттуда поехал в совхозы...

«Поехал в совхозы»... Я же так и подумал, что не застану его на месте. Время уже позднее, а в Ленкорани на час разница еще, а Мамедов где-то в совхозах... Вот так и всегда он...

Я представил, как зашумела, хлынула в канале вода, как заликовали люди, радуясь своей победе... Растет Ленкорань, богатеет ее земля. Много на этой земле хороших людей. И среди них выделяется своей партийной деловитостью Герой Социалистического Труда Иса Алиевич Мамедов.

## ПОШЕХОНСКИЕ СЫРЫ

Тонко нарезанные ломтики сыра были разложены по тарелкам и манили матовой желтизной, свежими росинками влаги, еле заметной, чистейшей, особенно по краям и вокруг аккуратных круглых «глазков». Вызывал аппетит и нежный, но острый аромат, этот неповторимый «сырный дух», который и сытого ночью разбудит...

— Вот это да! Вот это сырок! В магазины бы такого побольше!

Первым на мое восклицание отзывается Богачев, директор Пошехонского сырозавода, в кабинете которого мы и пробуем этот деликатес. Его поддерживают главный инженер Козинков, кто-то из контролеров, бухгалтер. Все они, перебывая друг друга и показывая на Галину Алексеевну Каменскую, старшего мастера, которая эти замечательные сыры и делает здесь, стали доказывать, что и в магази-

нах их продукция такая же, что сыров высшим сортом с завода уходит почти девяносто процентов, а со Знаком качества — тридцать пять.

— У нас, у пошехонцев, как у богов древних, брака не бывает! — сказал Козинов, шутливо подмигивая, и все засмеялись, стали весело рассказывать разные побасенки про пошехонцев: как они корову тащили на крышу, где трава выросла, толочно в речке разводили, кочергой расписывались. Только Галина Алексеевна держала себя чуть потише других. Длинным широким ножом она ловко строгала сыры то российские, то пошехонские и предлагала определить «вкусовой диапазон». В белом халате и в белой высокой шапочке она походила на доктора. От всей ее тонкой, гибкой фигуры, от выразительного, живого лица, от милой домашней улыбки так и веяло благородством, врожденной естественной простотой. Немножко не верилось, что она и Герой Социалистического Труда и лауреат Государственной премии, один из лучших сыроделов страны. Обычно такие известные люди с годами смелеют, свободно держатся и на трибунах и на совещаниях, в любых, в общем, сферах, а Галина Алексеевна как бы выпадала из этого представления, говорила скромно, даже стеснительно, и что самое главное — не хвалилась, ничего не преувеличивала и слушать ее было одно удовольствие.

— Завод у нас хороший, новый, — стала она пояснять, когда мы спустились вниз и пошли по цехам. — Оборудование в основном венгерское и немецкое, работает исправно. Жаловаться не на что, все от нас самих зависит. Руки приложишь да порядок наведешь, тогда и качество будет...

В приемном цехе, откуда мы начали осмотр, как раз готовилась основная операция: закачка левого танка. Танк — это, если сказать попроще, огромный бак, куда входит десять тонн молока. Таких баков четыре. Есть здесь и другие емкости. Ведь завод ежедневно принимает до ста десяти тонн молока, которое не только на сыры идет, но и на масло, на сметану. И ежедневно из его ворот увозят до семи тонн готовых сыров: нарежай и ешь, наслаждайся «вкусовой гаммой». И все сыры, каждая его партия, проходят через руки Галины Алексеевны и ее помощниц. Полтора месяца созревает пошехонский сыр и больше двух месяцев российский, и все эти дни Галина Алексеевна начеку, следит за всем неотступно, а в ответственные моменты, несмотря на опыт, просто волнуется: ведь прогляди что-то хоть немного — и букет будет уж не тот. А операций сколько, и все они сложные, тонкие, подчас невидимые глазу: и брожение, и постановка зерна, посолка, само созревание, когда каждый градус температуры и каждый процент влажности на особом контроле. Сыроварение — это такая «хитрая штука», что основное-то в нем, та решающая «изюминка», без чего сыр просто не может быть сыром, зависит не столько от рецептов и технологий, как от самого мастера, от его ума и сердца. Это все равно, что две хозяйки пекут, скажем, пирог с капустой по книге и обе

соблюдают все предписания. Но вот одна вынимает пирог, который так и дышит пышностью, а у второй получилось что-то бледное, худосочное, — есть его не хочется...

— Галина Алексеевна, а сырному делу вы где научились?

— Ото всех понемножку. И от мамы тоже.

— А она что у вас...

— Нет, она сыры не варила. Она просто прилежная у нас, работающая, все умеет.



Ей сейчас девяносто шесть лет, матери Галины Алексеевны. Девяносто седьмой пошел с февраля. Зовут ее Ольга Васильевна. Одиннадцать детей она вырастила. И все они, сыновья ее и дочери, и те, кто жив, и те, кого уже нет, были и есть люди хорошие, всегда на виду, а Галина вот, самая младшая, и Герой и лауреат, партийная. Когда Ольга Васильевна услышала, что ее дочь получает такую высокую награду, то сначала перепугалась, старым своим крестьянским умом не могла сразу всего понять и все приговаривала:

— Батюшки, да что же теперь будет-то?

Своей семье Галине Алексеевне завести не удалось. Все ее женихи не вернулись с войны. Одного из них она ждала долго, надеялась и на чудо и на счастье, но все сроки прошли, а он так и не появился. Потом учеба захлестнула, получила Галина Алексеевна в Угличе диплом мастера-сыродела, мать забрала из деревни, и стали они с ней кочевать с завода на завод, по всему Пошехонью. В Климове лет пять прожили, в Гаютине столько же и вот уже около двадцати годов живут здесь, в районном центре, рядом с заводом. Квартира у них казенная, в каменном доме, и если бы не участочек земли поблизости, где Ольга Васильевна отводит свою деревенскую душу, копаясь на грядках и в картофельных бороздах, то было бы ей трудно привыкнуть к кирпичным стенам и этажам...

Пошехонье-Володарск хоть и не ахти какой крупный, но все-таки это не село и не поселок, а именно город, двести лет уже городом считается. И дело тут не в размере. Пошехонье для России, что Габрово для Болгарии: там и тут любят посмеяться, не щадя ни себя, ни соседей. Пошехонцы очень обижаются, когда их городок у кого-то не вызывает восторгов. Но такое бывает редко, потому что он и впрямь необыкновенно красив: три реки тут рядом — Сога, Согожа и Пертомка, Рыбинское море, и вода везде чистая, рыбная, уток — хоть руками лови, леса высокие, хвойные. Крупной промышленности тут не видать, но здешний «мэр» так умеет подать приезжему человеку свой город, что картина получается иная: все делают якобы в Пошехонье, кроме золотобойных вещей, еще около двадцати наименований. Он не скажет

просто там лесоматериал, а перечислит и брус, и шпалы, швырок и горбыль, тес, штакетник для заборов. И получается внушительно. А вообще-то в Пошехонье ловят рыбу, катают валенки, делают полотораспальные кровати, ну и, конечно, сыры. Сыры — это главное. Сыры — гордость и слава городка, а Галина Алексеевна Каменская самый уважаемый его житель...

Каждый день, рано утром, люди видят ее шагающей по улице. Она идет быстро, чуть вскинув голову, здороваясь на ходу со всеми встречными. На повороте ее чашенько останавливает Алексей Петрович Мишутин и кричит от палисадника:

- Бежишь, мастер? Ни свет, ни заря, а ты уже бежишь?
- Сейчас колхозы молоко рано привозят, посмотреть надо.
- Конечно, дело летнее, надои растут.

Мишутин тоскует. Сорок лет он проработал на здешнем сырозаводе, двадцать пять из них был директором, а сейчас на пенсии, только что проводили. От него в основном и научилась Галина Алексеевна мастерству сыроварения. От своей матери — любви к труду, дисциплине, святости к делу, которое ты выбрала, а от Мишутина именно мастерству. Замечательный он человек. Вот не сидится ему дома, не отдыхается...

- Алексей Петрович, на завод пойдете?
- Да надо бы. Тут, понимаешь, Богачеву надо кое-что передать, соображеньице одно...

И они идут вместе. У ворот уже выстроились цистерны с молоком. Половина из них забрызгана грязью. Погода сухая, а тут грязь. Это из тех колхозов машины, где к фермам трудно пробраться. Тракторами на тросах цистерны вытаскивают, по пять часов трясутся они по страшным колдобинам до завода и привозят иной раз не молоко, а простоквашу. Из такой продукции не то что сыры делать, ее принимать даже нельзя. Но председатели, «узнав о заминке», звонят в райком, а оттуда угрожающе дают на завод:

- Принимайте! Перерабатывайте!

Ох уж эти окрики и давление, пускают их еще в ход, когда лень рукава засучить да умом пораскинуть, разгильдяев приструнить. Галина Алексеевна на очередном же заседании бюро райкома, членом которого она является, спокойно докладывает обстановку. Но от ее спокойного голоса беспокойно чувствуют себя ответственные товарищи, ерзают на стульях. Перед заседанием она лично все посмотрела, побывала в колхозах, с доярками беседовала. Пошехонье — район молочный, но далеко еще не все фермы имеют холодильные установки, грязи немало в стойлах, очистка молока слабая, дороги плохие. Пора все это поправлять, хватит жить по старинке, «по-пошехонски». Из окисленного, взболтанного молока хорошего сыра не сделаешь.

В нынешнее лето заводу почти не приходилось ругаться с колхозами. Райком партии взял на контроль поставку молока, кое-

кому крепко влетело. Только «Новая жизнь» да «Красная звезда» нет-нет да и привезут еще продукцию «на пределе». Вон эти бурные цистерны наверняка оттуда...

Галина Алексеевна надевает халат и начинает обход всего производства. Она старший мастер и отвечает за все процессы. Татьяна Лапшина, Нина Конюхова и Валя Механошина, помощницы ее, которых она обучила, сообщают об утренней смене: все нормально, температурный режим в норме, влажность тоже, молоко сегодня поступило хорошее от всех хозяйств...

В цехах стоит специфический запах. Галина Алексеевна любит его, по привычке принимает сосредоточеннее: появится что-то постороннее, «чужое», сразу уловит. Все помещения выглядят пустынными, люди стоят там, где положено, без надобности не бродят. А раньше, помнится, не так было, толклись рабочие где надо и не надо. Галина Алексеевна постепенно навела порядок. Она бывает в других городах, на больших сырозаводах и все ценное перенимает, вводит у себя. Не так давно в Данию ездила, насмотрелась там на производство сыров и, вернувшись, провела со своими беседы: чище у них, внешнее оформление товара очень красивое, молоко только высшего качества берут, нет текучести кадров, за рабочее место человек цепко держится...

— Сыры у нас вообще-то не хуже, мы им давали попробовать, — рассказывала Галина Алексеевна. — А вот культуры, лоска положенного, изыска нам еще не хватает. Будем менять кое-что, если постараемся, так все сумеем сделать, сложного ничего нет...

Конечно, все можно сделать: и культуру производства поднять и предельной чистоты добиться, лучшего качества. Народ на заводе сейчас подобрался толковый. Людей надо беречь, заботиться о них, учить. И дело пойдет. Пошехонские сыроделы и так уже на хорошем счету, но можно добиться и отличных показателей, резервов сколько угодно. Взять хотя бы те же новейшие методы ухода за сырами в процессе созревания, которые ввела на своем участке Галина Алексеевна и за что она получила Государственную премию. За каких-то два с половиной года она сэкономила полторы тысячи тонн молока, из которого дополнительно сделано двести тонн сыра. Да какого сыра-то, самых наивысших сортов, наивкуснейшего. Этот метод можно расширять, давать ему ход...

— Галина Алексеевна, гляньте на сгусток в ванной, закваски внесены правильно, тридцать пять минут прошло, а сгусток не тот.

Это пришли за старшим мастером из цеха сырных ванн. Молодые аппаратчицы еще не во всех тонкостях разбираются, у молока тоже бывают «капризы», оно при брожении внешне не всегда выглядит одинаково. Галина Алексеевна разъясняет, как надо в данном случае поступать, на что обратить внимание...

Зашла она потом в отделение, где смывают с сыров плесень, где их парафинируют, поговорила с работницами. Галина Алексеевна терпеть не может обезлички, старается каждого человека узнать поглубже, расположить его, привить любовь к делу. Сыры делаются в основном женскими руками, а женщины народ не простой, легко ранимый, ревности у них друг к другу хоть отбавляй. Перехвали или недохвали одну, немедленно «микроклимат» в цехе возникнет и кто-то обидится, замкнется. Галина Алексеевна все это знает и ладить с людьми, воспитывать их умеет. Женщины к ней тянутся, как к родной, за советами разными бегут и слезы и радость не стесняются показывать. Видимо, сердце ее доброе чувствуют, справедливость, любовь к заводу, к коллективу, к тонкой и сложной сыродельной работе...

Время приближалось к перерыву. На заводе есть неплохая столовая, но сегодня Галина Алексеевна решила пообедать дома: сестра в гости приехала, мать чего-то там вкусенького настряпать собиралась, велела пораньше приходиться. Да к тому же депутатский прием у нее с пяти часов, надо бумаги забрать, жалобу, которую она разбирала...

На улице было солнечно. Но грело оно уже слабо и как-то устало: что ж, осень наступает, золотая пора. Вон и небо уже дышит прохладной просинью, за Согожей, над еловыми борами, стаями кружатся птицы. «За грибами бы сходить надо,— подумала Галина Алексеевна,— маму угостить, сама она уже не может... А так любила, бывало, грибы собирать»...



На Пошехонский сырозавод пришла из министерства бумага: старшего мастера товарища Каменскую Галину Алексеевну просят выступить в Москве, на специальной выставке, а посему следует заготовить ей речь...

— Насчет речи-то это они зря,— было единодушно высказано в завкоме и в дирекции.— Она у нас без бумажки опытом делится, школу ведет, со всей страны сыроделы ее слушать приезжают. О сырах она не собьется ни в Женеве, чай, и ни в Нью-Йорке, ни в ООН... Придумают тоже — речь заготовить...

По такому поводу приезжал из Ярославля Александр Федорович Трофимов, генеральный директор областного объединения молочной промышленности, беседовал с Галиной Алексеевной. Он за нее, конечно, не беспокоился. Просто ему, коренному пошехонцу, приятно, что здешние мастера и сыры их в большую славу входят.

— Желаю удачи, Галина Алексеевна,— сказал Трофимов, пожимая ее тонкую руку.— Если областные данные потребуются, вот они, отпечатаны...

Галина Алексеевна улыбнулась и пошла в цеха. До отъезда еще было четыре часа, собраться она успеет, а вот производство обойти надо. Чтобы сердце меньше болело в дни отлучки. Чтобы в деле, которое оставляешь, уверенной быть.

## МОЙ СВОЯК С УКРАИНЫ

Украина... Когда я произношу это высокое певучее слово, то мне вспоминается родное село Бугры, расположенное под городом Горьким. Наше село русское, никого, кроме русских, в нем никогда не жило, но именно здесь, в самом раннем детстве, я впервые услышал об Украине...

Распрягайте, хлопцы, коней  
Да лягайте спочивать...

Вот этой знаменитой песней заканчивались у нас обычно все деревенские гулянья. Сначала парни и девушки ходили по селу с гармонью, играли «Сормовскую», плясали у дальних амбаров, а уж к вечеру, когда начинало темнеть, собирались у кого-нибудь на крыльце и заводили с чувством: «Распрягайте, хлопцы, коней»...

Мы, мальчишки, знали, что эта песня украинская. Постепенно, сама собой она запомнилась мне и полюбилась на всю жизнь. Однажды, уже взрослым, приехав в отпуск, я спросил свою мать, почему у нас в селе так часто и охотно пели украинскую песню.

— Так а как же ее, милый, не петь-то, — сказала мать, — она для всех понятная, душевная такая, будто наша, русская...

Для всех понятная... Народная, значит. Душа народа, значит, глубоко выражена, национальные черты очень яркие и выпуклы. В этом-то и заключено самое главное: через собственное сердце к сердцу другого народа, через национальное к интернациональному...

Триста двадцать пять лет назад воссоединилась Украина с Россией. Да, тогда мы «документально» воссоединились. А у меня такое чувство, что мы вообще никогда не разъединялись. Корни братства, дружбы и взаимной любви нашей уходят в глубь веков. Мы вместе, рука об руку, прошли длинную дорогу. Эта дорога не всегда была гладкой, мешали нашему пути и враги, но сосуды, наполненные живительной водой братства, мы не расплескали, не уронили из них ни капли...

Еще со времен Киевской Руси, с величайшего творения «Слово о полку Игореве», которым по праву, как общим своим сокровищем, гордятся русские, украинцы и белорусы, жила в наших народах мысль общности, единения, тесной дружбы. Это находило постоянное



отражение в народном творчестве, в хлебосольном гостеприимстве, в устных и письменных заявлениях лучших умов той поры, передовых образованных людей. «Мы,— писал Иван Франко,— любим великий русский народ и желаем ему всяческого добра, любим и изучаем его язык... И русских писателей, великих святочей в духовном царстве, мы знаем и любим... Мы чувствуем себя солидарными с лучшими сынами русского народа...»

Украинский народ создал богатейшую культуру, из кладезя которой щедро черпают, обогащая себя, многие народы как у нас, так и за рубежом. Гоголь и Шевченко, только эти великие люди, крупнейшие художники, сделали так много для общности и дружбы русских и украинцев, что вклад их в нашу общую культуру трудно переоценить. Гоголь писал по-русски, но рисовал в основном Украину, ее мужественный добрый и работающий народ, и по его гениальным произведениям, по таким образам, как Тарас Бульба, мы представляем и понимаем душу украинскую, красоту ее и верность. «Перед Гоголем должно благоговеть, как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и самую нежною любовью к людям!» Это сказал Тарас Шевченко. Своего великого друга он называл бессмертным...

На Украине широко почитают всех передовых выдающихся сыновей. Мне посчастливилось видеть, как народ отмечал столетие со дня смерти Тараса Григорьевича Шевченко. Я ездил тогда в Киев, побывал в Каневе, в Моринцах, во многих селах Приднепровья. Такую огромную, буквально всенародную любовь к поэту не в каждой стране встретишь. Тарас Шевченко жил в сердце каждого человека. В каждой хате, не говоря уже о клубах и школах, я видел портреты поэта со знакомыми «вислыми вусами», с папачой из смушки. В каждой хате красовались рушники, на которых яркой шелковой вязью были вышиты какие-то крылатые слова Шевченко, приветствия в его адрес. Вот это признание! Ведь никто не заставлял, не обязывал «директивно» так славить поэта. Он был душой народа, выразителем его дум и чаяний, он слился со своим народом...

В одном селе колхозная самодеятельность давала концерт. Нас, как гостей, посадили в первый ряд. Девушки в национальных костюмах водили хороводы, пели частушки, бойко стучали каблучками по дощатой сцене. И много читалось стихов. И не только Тараса Шевченко, но и других поэтов, современных молодых, в том числе и русских. И как-то легко, непринужденно объединялось прошлое с настоящим. Порой казалось, что Тарас Шевченко жив, что вот он сейчас сойдет с портрета, висящего в глубине сцены, снимет папачу, поклонится землякам и скажет:

— Спасибо, люди... Я мечтал, чтобы вы так жили...

Мы ночевали в этом же колхозе у шофера, который возил нас по шевченковским местам и просто по бригадам, где жили старики,

заставшие прежние времена, когда спали на соломе и не всегда, особенно к весне, были сыты и обуты.

Украина и Россия... Россия и Украина... Две крупнейшие республики страны, равные сестры в многонациональной советской семье. Ленинская дружба народов стала нашим самым драгоценным достоянием. Она обогащает нас всесторонне: и духовно, и нравственно, и материально. Мы вместе варим сталь, добываем уголь, выращиваем хлеб и переводим книги друг друга на родные свои языки. Вместе — это значит и тогда, когда русский и украинец не стоят у одной печи, не врубаются вместе в пласт антрацита: руки могут быть украинские, а машина русская или наоборот. В этом и есть сила ленинской дружбы...

Лично меня с Украиной, помимо общего, так сказать, братства связывают еще и узы родства. Муж моей родной сестры украинец. И фамилия у него самая что ни на есть украинская — Шевченко. Он деревенский, с берегов Днепра, бывший военный дальневосточный моряк, а сейчас слесарь, живет и работает на Волге, в Куйбышеве.

Каждый год в отпуск Шевченко ездит на свою родину, и я люблю, когда он на обратном пути с корзинами и мешками — «сестры гостинцев надавали» — вваливается в нашу московскую квартиру. Рассказывая о своих приднепровских местах, о том, как там все похорошело и выросло, он, волнуясь, переходит на украинский язык, и я охотно слушаю эту мягкую образную «мову», с удовольствием ем украинское сало, в котором якобы «нема никакого холестерина», домашние пышки и паляницы. Мы говорим о жизни, о семьях, вспоминаем войну. Девятнадцатилетним лейтенантом я командовал пулеметной ротой при взятии Берлина. У меня на руках умер, истекая кровью от осколочной раны, молодой солдат Петя Колос, украинец, совсем еще мальчишка. За Одером через полевые военкоматы нам дали пополнение. Это были в основном украинские и белорусские ребята, угнанные фашистами на работу в Германию. Вот и Петя Колос был из таких. Мы учили их на ходу, учили прямо в боях. Дрались они храбро и жадно, как бы наверстывая упущенное. Мы с Петей Колосом лежали за пулеметом, отражая атаку. Он пополз за лентой, и вражеская граната настигла его...

Воспоминаний военной поры немало и у Якова Шевченко, и мы долго говорим о разных случаях взаимовыручки русских и украинцев. Мы не произносим высоких слов о дружбе и товариществе: надо ли братьям и сестрам в любви признаваться? Братья просто любят друг друга и все. Они друг за друга в огонь и в воду...

— Яша, может, споешь, — прошу я своего украинского родственника.

— Это можно, — соглашается он и поет песню за песней. Поет негромко, но выразительно, с чувством, и я, слушая его и вытирая теплые слезы, как бы вижу солнечные хлебные равнины, белые хаты,

где «хрущи над вышнями гудуть», чувствую запахи весенней земли. Украина проходит перед моими глазами, сестра России. Вижу я людей Украины, братьев своих, и строчки стихов встают в памяти:

Стоять века России с Украиной,  
Пока плечо касается плеча!

## ДАГЕСТАНСКИЙ ВИНОГРАД

Поселок довольно крупный, раскинулся на равнине между лесистым предгорьем и морским каспийским берегом, весь он новый, уютный и название у него новое, придуманное, видимо, недавно: Дагестанские огни.

— А мы тут огонь вырабатываем,— поясняет Халид Гусейнов и, улыбаясь поглядывает на Демир-Гая Алиева.— Солнечный, понимаешь, огонь, жидкий, огонь из винограда...

Алиев директор, а Гусейнов главный агроном совхоза имени Ильича, расположенного под Дербентом. Мы долго ходим по улицам, кажется, все уже осмотрели, но Алиев продолжает звать то в одну, то в другую сторону: а вот поликлиника, только что сдали, такой и в городе нет, а там переулочек Молодежный, одни новоселы живут. Дома в поселке просторные, чистенькие, построенные по-южному, в два этажа, перед окнами садики, деревья грецкого ореха, инжира и акаций. С раннего утра стоит такой зной, что ни дыхание моря, ни прибрежный ветер не приносит прохлады. Пустынно на улицах, тихо. Лишь стайка ребятишек играет в мяч у забора да древний дед, привалившись спиной к валуну, сидит на самом солнцепеке. Он в теплой шерстяной поддевке, на голове его черная баранья папаха, мудрые глаза узко прищурены. Завидя его, Алиев с Гусейновым кланяются и что-то говорят на своем языке: свято и почитаемо здесь уважение к старикам...

— Этот аксакал был жителем гор,— сказал Алиев.— У нас тут многие с гор спустились. Из Зидьян Кизмалыра, из Кемаха и других селений...

— Значит, нет у вас текучести кадров?

— Что еще за слово, понимаешь, придумали — текучесть? — сердито вскидывает свои кустистые брови Алиев.— В крепком хозяйстве без дела нигде ничего не течет. А потекло, плотину поставь. Плотину из удобств и хорошей зарплаты...

Двадцать лет уже Алиев возглавляет этот совхоз. И двадцать лет ходит при нем Гусейнов в главных агрономах. Они старые друзья, почти погодки: тому и другому за шестьдесят. Раньше в совхозе садили овощи и сеяли зерновые. Урожаи были низкие — одни убытки, концы с концами никогда не сводили. А ведь земель плодородных

здесь так мало, всего-то полоска между морем и горами, и жалко, обидно было отдавать ее под культуры, которые растут везде. Решили все площади занять под виноград, оставив гектаров триста на разные нужды. Они-то решили, а вверх, в районе, веря в полезность этого предложения, все-таки засомневались: а почвы каковы, как еще пойдет дело, к старому-то привыкли, оно вроде надежнее и спокойнее. За новые идеи пришлось повоевать. Упорство Алиева подкрепилось ученостью и опытом Гусейнова как специалиста. Год от года виноградники расширялись. И сорта для закладки новых плантаций выбирали самые урожайные и ценные. Для вина ркацителли брали, саперави, каберне, матрасу, а к столу, для еды, обильный и дольчатый шел, агадаи, местные сорта, выведенные дербентским старейшим селекционером Марией Яновной Пейтель...

— Сейчас у нас уже свой винзавод, — говорит Алиев. — Двадцать тысяч тонн в год винограда перерабатываем. Это выгодно. Вино свое делаем. Сухое белое и сухое красное, портвейны, кагоры. Всей земли в совхозе тысяча гектаров, одна тысяча сто из них — виноградники. На остальных площадях овощи садим, под корма отводим. Держим около сотни дойных коров. Нельзя пока без этого. Город молоку требует, да и нам для детских садов немало надо. Ну, а все, конечно, на винограде держится, он у нас — основа основ...

Гусейнов, вклиниваясь в разговор, дополняет Алиева цифрами. Любую культуру можно на корню опорочить, если не добьешься высокой урожайности. Внедрить — одно дело, а заставить сорт «работать», да чтобы прибыльно и весомо — это посложнее. Только родня домашняя знает, пожалуй, как Алиев не спал по ночам, звонил куда-то, выпрашивая машины и удобрения, бежал на рассвете к Гусейнову, и они вместе ехали на плантации, чтобы перепроверить задуманное, подсказать бригадирам, себя убедить. Вон и посидели раньше времени, на плечи жизненный груз давит. Настоящему аксакалу так и положено. Это его украшает. В Дагестане все теперь знают, что Алиев с Гусейновым умеют ценить землю, больше других распахали они горных склонов под виноградники. На месте непролазных кустарников и камней растут теперь отличный виноград. Не кто-нибудь, а их управляющий Сиражутдин Нурмагомедов за освоение горных склонов стал лауреатом Государственной премии страны. И вообще ведущие кадры в совхозе подобраны и обучены серьезно: с дипломами не только управляющие, но и многие бригадиры. Все самые трудные и ответственные дела коммунисты ведут и комсомольцы. Они весь многонациональный коллектив цементируют. В поселке, кажется, и не помнят, когда было какое-нибудь нарушение: дружно народ живет, хорошо...

— Виноград, он сладкий, а заботы о нем горьковатые, соленые, — смеется Алиев. — Грамм сахара в ягоде, три грамма соли на лопатках. Эту присказку Нурмагомедов любит повторять, лауреат наш. Ум-

нейшая голова у Сиражутдина, работник из работников. После обеда заглянем к нему. А сейчас, Халид, води гостя куда надо. Дагестанцы мы, понимаешь, или не дагестанцы?..



Если бы я не знал, кто таков Сиражутдин Нурмагомедов, то принял бы его по крайней мере за городского ученого. Во всем его облике, в одежде, в манере держаться есть что-то элегантное, в меру строгое. Ни малейшей так называемой «деревенской вольности», которую позволяют себе некоторые сельские интеллигенты. Даже здесь, в поле, он выглядит так, что как будто бы ему надо сейчас выступать с трибуны в Махачкале: отглаженный костюмчик, чистая обувь, смуглое лицо аж сизеет от усердного бритья.

— Ай, как быстро влага уходит,— вздохнул Нурмагомедов, растирая в руках комок земли.— Завтра придется полив начинать...

Над верхними склонами предгорий, рассеивая серую жидкость, пролетел самолет. На втором круге он покачал крыльями, и Нурмагомедов, сложив ладони, потряс ими в воздухе, благодаря летчика.

— Славные ребята эти авиаторы,— сказал он.— Без них бы нам виноградники не обработать. Тут быстрота нужна, иначе вредитель такую силу наберет, что прощайся с половиной урожая. И клещ и листоевтерка проклятая мигом навалятся...

Во все стороны, насколько хватало глаз, видны были виноградники. Зелеными коврами спускались они с пологих холмов, забирались к вершинам гор, тянулись вдоль шоссе. Некоторые плантации были совсем молодыми, недавно возделанными, между участками еще лежали кучи срезанного бульдозерами колючего караткена, кустов и держи-дерева. Но большая часть отвоєванной у гор земли уже белела шпалерами, вокруг которых курчавились и тянулись вверх побеги растений. Тут были ркацители и рислинг, саперави, каберне и мускат белый. На южных крутых склонах заканчивалось цветение. Нежный, сладковатый аромат растекался по нагретой земле. С горы Бадамлык, куда нас привел Нурмагомедов, просматривались и дальние плантации. Над ними висел вертолет, опрыскивая рядки. А внизу, справа, недалеко от дороги бригада Багатдина Шингарева занималась подвязкой и обломкой лозы. Разноцветные платки женщин, словно цветы на ветру, покачивались между рядками...

— А там, вон за тем увалом, мое родное селение Митиги,— показал Нурмагомедов рукой.— Ай, какое красивое селение! Буду обижаться, если на Митиги не посмотрите...

В этих горных местах Нурмагомедов был председателем сельсовета, возглавлял колхоз. Сейчас у него отделение побольше того

колхоза — пять бригад, техники много, земли около пятисот гектаров. И земля не простая, это виноградники, возделанные на горных зарослях. Сиражутдин Нурмагомедов первым выступил на парткоме, когда в совхозе заговорили об освоении склонов. У него уже были на этот счет конкретные соображения. Он и раньше делился ими с Алиевым и Гусейновым. И первым взялся повоевать с горами. Начинать он, конечно, не с голого места. Опыт в этом уже был. И наш и зарубежный, книги написаны о горных виноградниках. Не легко вручную возделывать какую-то кручу сотки на три, и не так просто освоить сотни гектаров с применением техники...

Сейчас многие трудности уже позади, орден Ленина Нурмагомедов получил за высокие урожаи горного винограда, лауреатом стал, но тогда, особенно в первые два года, дела казались очень сложными. Нурмагомедов с себя начинал, с личного примера. Институтского агрономического диплома оказалось маловато, пришлось основательно подучиться, в крупные виноградные хозяйства съездить, перечитать сотни книг, машины самому освоить. И легче стало работать, легче с людьми разговаривать. Не надо было свой авторитет чем-то дополнительно укреплять. Авторитет его как бы сам собой рос и поднимался. Глубокие знания, цепкий ум, честность — вот что деловую славу управляющего создавало. И жена его, Фазиль, такая же по характеру. С молодых лет она в поле, на рядовой работе. Лучше нее и сейчас никто на виноградниках не работает. Вот уж не скажешь, что жена управляющего барыня, дома сидит. И дети у Нурмагомедовых — любой позавидует. Четыре дочери у них и сын. И внучек у Сиражутдина четыре: Зулейха, Зимфа, Эльвира, Анжела. И внук есть: Эльман. Когда в праздники сажает он их в машину и везет в город, то там, на улицах, при гулянии, никто не хочет верить, что это его внучки: очень уж молодо и подтянуто выглядит Нурмагомедов в свои пятьдесят четыре года. А ему очень приятно это слышать. И Фазиле приятно. Она тоже молодая, назвать ее бабушкой язык не поворачивается...

— У нас в Митигах до ста лет о возрасте не думают, — шутиливо хвалится Сиражутдин. — Столетний аксакал — совсем молодчик! Хоть женить завтра...

На виноградниках почти круглый год не бывает тихого времени. То закладка насаждений, то перепашка, культивация, рыхление рядков, обрезка лозы, чеканка побегов, обработка и подвязка. До самой уборки вздохнуть некогда. И хотя все бригадиры в отделении люди опытные, ответственные, Нурмагомедов целыми днями и сам на плантациях. А в начале сентября, когда тяжелые виноградные гроздья еле держатся на лозинах, он и по ночам сюда приезжает, заходит в шалаш к сторожу Алахмедову, спрашивает:

— Не спишь, Магомед? Как тут дела?

— Опять кабаны прибежали. Три шпалеры подрыли, разбойники. Пришлось припугнуть. Лес кругом рядом, вот и хулиганят...

Внизу на полевом стане горят огни, играет музыка. Это первая партия студентов-медиков уже приехала на уборку. Обрадовались ребята, что из города вырвались, их тут вкусно накормили, танцевальная площадка есть на полевом стане, радиолы — поди-ка угомони их, до рассвета прогуляют под теплым звездным небом. Танцевальная площадка в поле — это Нурмагомедов придумал. Студенты вечерами все равно где-то будут собираться, стремиться куда-то. Уж лучше на месте создать им хорошие условия для отдыха. О людях позаботься, они добром ответят. Ребята работают без усталости. Машины с виноградом одна за другой с плантациями уходят. А виноград какой! Ягода к ягоде, кисть в обеих руках еле удержишь — сто двадцать центнеров с гектара. И сахаристость у здешнего винограда выше, чем на равнине. Особенно столовые сорта замечательно наливаются, агадаи, обильный, дольчатый. Лучи солнца на скатах сильнее, каждый листик пробивают, с избытком накапливая в крупных желтоватых ягодах тепло и энергию. Сладкий, с легкой кислинкой вкус, медово-ванильный запах, вид гроздей, покрытых капельками утренней росы, так притягателен и аппетитен, что рука сама так и тянется, чтобы сорвать ягоду. В сентябре в каждом доме стоят большие вазы с таким виноградом. Он в это время дешевый, да и сами рабочие совхоза выращивают понемножку на своих приусадебных участках столовые сорта. Гудят над вазами залетевшие с улицы пчелы, руки и губы детей весь день в липкой сладости, приезжие из городов гости никак не могут насытиться южной солнечной ягодой...

Недалеко уже и до нынешней виноградной уборки. Нурмагомедов ждет ее, все у него в отделении к основной жаркой страде готово: и машины, и подъездные пути, и люди. Виды на урожай неплохие. Все сорта подходят дружно, умелый и своевременный уход сказывается, забота и любовь людей к своему делу, к земле родной. Десятую пятилетку отделение давно выполнило, работает уже в счет новой пятилетки...

И снова, как и в прошлые годы, понаедут сюда студенты, шумно и весело станет на плантациях. Своими силами при уборке никак не обойтись, хотя на виноградники и старики выходят и школьники помогают: площади расширились, на шесть-семь километров тянутся по возгорьям виноградники. А через годик-другой плантации вплотную к Митигам подойдут. Нурмагомедов решил все, что можно, у гор отобрать, возделывать и засадить зеленой лозой. Рабочие отделения за это предложение как один проголосовали, а директор совхоза при всем народе даже обнял Нурмагомедова и сказал радостно:

— Ну, Сиражутдин, молодец! Так и превратишь ты свои горные Митиги в столицу горного винограда!

Посмотреть на старинное селение Митиги мне так и не удалось. К Нурмагомедову приехал Алексей Николаевич Череватенко, начальник производственного совхозного объединения «Дагвино», и увез меня в Дербент на коньячный комбинат. Я хотел было отказаться, но передумал: надо же самому увидеть, что получается из местных сортов винограда, какая продукция...

— Увидеть и попробовать, — директивно сказал Череватенко. — Дагестан дает больше половины всего российского винограда, семьдесят процентов коньяков. До сорока сортов выпускаем мы разных вин, тридцать три международных премии получили, две из них Гран-При. Готовим к выпуску свое шампанское, улучшаем старые сорта...

Ну, разошелся Алексей Николаевич, сел на своего конька. Сейчас, думаю, стихи Расула Гамзатова начнет читать, классиками подкрепит свою мысль о поэзии виноделия...

— А пьют у вас много? — деликатно вклиниваюсь я в речь Череватенко.

— Меньше, чем где-либо. Мы на свои заводы непьющих не берем, а пьяниц выгоняем. Такой у нас доморощенный лозунг есть. Нет, смех смехом, а это правда. Воспитание людей хорошо поставлено, в какой-то степени и фактор доступности, конечно, действует: где всего много, того и не хочется. Борьбу с пьянкой не запретами надо вести, не грубостью, а культурой, разъяснением. Винная продукция высокого качества и вкуса тоже на культуру работает.

На Дербентском комбинате поразила меня идеальная чистота, вся территория — сплошные цветники и розы. Много здесь молодежи, специалистов высокого класса. Тихо ступаем мы по цементным полам затемненных прохладных подвалов. Гигантские кубовые бочки десятилетиями безмолвно покоятся у толстых стен. Бродит и зреет в них сок винограда, чтобы порадовать и удивить потом человека...

— Просим пригубить, — пригласили нас хозяева комбината. — Вот ркацители, вот херес...

Мы не только пригубили, а с удовольствием выпили по полному бокалу отличного холодного вина. Может быть, оно сделано из винограда, выращенного у Нурмагомедова? А может, гроздь привезены были из совхоза имени Карла Маркса, где директором тоже Алиев, только Яшар, а не Демир, и куда мы заезжали по пути на комбинат, чтобы посмотреть, как здесь организуют переработку отходов сухой лозы. Неважно, откуда завезен виноград. Важно, что он свой, дагестанский, слава которого шагнула по всей России.



## ЭТЮДЫ О ГОРОДАХ

Их так много в России, городов разных. И маленьких, где пахнет сеном, на домах резные наличники, где гуси пасутся на лужайках и от одного названия которых так и защемят сердце, вольется в него что-то с детства родное: Медынь, Обоянь, Чухлома, Рамонь... Есть и большие города, в которых спрессовалась история веков, история Советской власти. В двух таких крупных городах мне посчастливилось недавно побывать. Это Дзержинск на Оке и Махачкала на Каспийском море...

### На изгибе Оки

Лучше бы, конечно, приехать сюда летом, по Оке, на верхней палубе местного пароходика, чтобы на оба берега вдоволь наглядеться. До середины июня еще держится по низинам большая вода и река местами кажется очень широкой, спокойной и недвижимой, как озерная гладь. Свернув с фарватера, пароходик сбавит ход, мягко притрется к резиновым скатам причала, и вот она, песчаная земля города Дзержинска, города химиков и строителей...

Впервые об этих местах я услышал еще до войны, в школьные годы. Помню, ходили мы с матерью из своей деревни в Горький на базар и на обратном пути присели отдохнуть у села Новинки. Был уже вечер, и с крутого берега виднелись разливы огней за Окой.

— Напротив нас — это автозавод засветился, — показывала мать, — а вон там, чуть полее, город Дзержинск...

Ударение она делала не на последнем, а на первом слоге, и я потом долго так же называл этот город. Слух о Дзержинске поначалу у нас шел немалый, а затем как-то подзаглох: мало ли тогда, в годы первых пятилеток, городов и поселков закладывали. Один автозавод чего стоил. Он-то и затмевал все горьковские стройки: размах какой, народищу тысячи, автомобили делают. Эти автомобили, в основном «полуторки» и «газики», с матерчатым верхом и высокими колесами, уже бегали по нашим земляным дорогам, вызывая восторг и удивление. А в Дзержинске, там продукция особая изотавлилась, химическая, тогда мы о ней мало что и знали и вообще не видели...

Ношли годы, десятилетия, и Дзержинск все чаще стал мелькать в печати и упоминаться по радио, как город значительный, важный и большой. О важности его я не сомневался, а вот о величине... Районный все-таки, и этим многое сказано. Районный город Горьковской области...

Но когда я увидел Дзержинск и походил по нему, то язык не поворачивался назвать этот город районным: население под триста

тысяч, красивые улицы, широкие площади, трамваи, троллейбусы, дворцы культуры, скверы. Даже сейчас, при мартовском снеге, было видно, что много здесь зелени, всюду аллеи высоких лип, тополей и березок, аккуратно подстриженных кустарников и газонов. Там, где живут люди, нет ни одного предприятия, вся «химия» вынесена в леса, подальше от городской черты. Мы еще на вокзале, как только приехали в Дзержинск, стали принюхиваться к здешнему воздуху, полностью уверенные, что обязательно будет пахнуть «химией», не может ею здесь не пахнуть. Но ничего «такого» не почувствовали. Пахло морозцем да свежим хлебом из ближней пекарни. Может быть, ветер дул с другой стороны...

— Дело тут, дорогие товарищи, не в ветре,— сказал нам Юрий Викторович Макаров, «мэр» города.— Нас давно уже исключили из списков загазованных пунктов. Атмосферу и воды бережем, денег на это тратим немало...

— А что, и рыба есть в Оке?

— Хм-м, рыба,— обидчиво стрельнул глазами Макаров,— стерлядь ловим, судака...

Может быть, и не так уж много в Оке стерляди, да и не в ней, собственно, дело. Важно, что индустриальный химический Дзержинск подружился с природой, умело вписался в нее, стал ее защитником. Чтобы вырастить в городе все эти деревья и цветы, люди завозили землю: здесь, на многие метры в глубину, сплошной песок и не проклюнется ничего, если не «создать» почву.

— Всем миром родной город озеленяли,— подхватывает рассказ «мэра» Николай Иванович Егорченков, секретарь горкома партии.— Это у нас традиция, она от ветеранов идет...

Хороших традиций здесь много. И одна из них, пожалуй, самая важная — это рабочая гордость. На заводах и комбинатах целыми династиями трудятся: дед, отец, внук, братья и сестры. Дзержинск держит свою марку. Основные его предприятия, такие гиганты химии, как «Корунд», «Капролактан», «Оргстекло», «Заря», дают продукцию в основном высокого качества. По железным дорогам и по Оке везут из Дзержинска жирные спирты, машины, продукты органического синтеза, пленку, минеральные удобрения, уникальные приборы, про которые сказано: «Хроматография значитесь в числе выдающихся открытий двадцатого века, преобразующих мир. Половина всех анализов в химической промышленности выполняется на основе этого метода». Мы, группа писателей, побывавшая в цехах, где такие «хитрые» штуки делают и где висит эта надпись, долго ничего не могли понять, хотя и объяснял нам все сам главный инженер Юрий Семенович Савинов, лауреат Государственной премии.

— Вот это приборчики,— засмеялся кто-то у стенда.— Понять трудно, а каково же их изобретать да делать?..

Дзержинск — город во всех отношениях молодой, современный и по внешнему виду своих четких, удобных кварталов и по населению, по количеству детворы. Одних студентов учится здесь пятьдесят пять тысяч. А какой замечательный в центре города Дом книги! Егорченков говорит в шутку, что по чтению литературы и по продаже ее на душу населения они повыше любой столицы стоят. Сто восемь библиотек в городе, кинотеатры новые, плавательные бассейны, стадионы. А футбольная команда «Химик»! Это же...

— Любой районный город обыграет, да?

— А вы не смейтесь,— замечает Николай Иванович.— Когда наши в Горьком сражаются, Дзержинск пустеет, болельщики весь транспорт занимают. Попробуй только пропустить хоть гол, домой не пойдешь...

И есть в городе два самых святых места. Это площадь имени Ленина, где возвышается памятник Владимиру Ильичу, и площадь Героев с обелиском и Вечным огнем. Семь с половиной тысяч бойцов из Дзержинска отдали жизнь за Родину в годы войны. Почетный караул у обелиска постоянно несут комсомольцы. Здесь всегда свежие цветы... И всегда кто-то из своих или приезжих, обнажив голову, подолгу стоит перед мраморной плитой...

\* \* \*

А начинался город с села Растяпина. Это Растяпино ничем особым не было знаменито. Разве что обилием грибов по перелескам да рыбной ловлей по песчаным отмелям. Вот за этим и тянется сюда городской люд. Из Москвы и Петербурга приезжали. Ну и, конечно, из Нижнего Новгорода — это же рядом, рукой подать...

Лет десять подряд наведывался сюда отдохнуть и поработать писатель-гуманист Владимир Галактионович Короленко. Алексей Максимович Горький не раз бывал в Растяпине. Он и позже приезжал сюда, когда уже на месте села поднимался город химиков. Смотрел Алексей Максимович на растущие корпуса и радовался: вот что свободный народ может делать...

Официально, «по бумагам» Дзержинск заложили в тридцатом году, ровно полвека назад. До этого времени тут была уже кое-какая «химия»: суперфосфат делали, азотную кислоту. Понемногу, правда, считанные тонны. Потом Чернореченский комбинат из мелких цехов вырос. Речка Черная протекает вблизи, отсюда и название — Чернореченский химический комбинат имени М. И. Калинина. Михаил Иванович Калинин еще в двадцать седьмом году приезжал сюда, выступал на митинге. Он сказал, что Советская власть решила построить тут крупный индустриальный город, что пройдет еще несколько лет и нельзя будет узнать этого захолустного местечка...

Так оно и случилось. Город рос быстро. Работа кипела днем и ночью. А время тогда было трудное, полуголодное. Механизация — лопата да тачка. Но никто не унывал, боевой тон молодежь задавала, ребята и девушки из деревень, с Волги и Оки, из лесных дальних районов. Вчерашние крестьяне становились рабочими, здесь с первого камня, с первого колышка начиналась их новая жизнь. Приезжали иногда к ним матери и бабки, гостинцы деревенские из корзин доставали, уговаривали кое-кого, по-горьковски окая:

— Поедем-ко домой, милой... Ишь, как ты, касатик, почернел да потощал!..

Но мало кто уходил со стройки. Коллектив, комсомол, вся эта задорная молодежная обстановка спланивали ребят. Они великую цель видели, строили город для народа, для себя и оставались в нем навсегда...

С одним из таких бойцов первых пятилеток я познакомился в Дзержинске. Это Константин Иванович Ключев, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города, газосварщик. Его рабочая биография очень похожа на тысячи других биографий, она как бы вбирает в себя все основное и важное из того забываемого времени. Ключев невысок, подтянут по-спортивному, лицо у него молодое, приветливое, говорить с ним легко и приятно. Он пять лет уже «в пенсионерах ходит», но мало кто и знает об этом в городе: как работал Ключев, так и работает.

— Тогда ведь как начинали-то? — рассказывает Константин Иванович. — Завод ставили, а вокруг него бараки. Некогда было хорошие-то дома строить. А мы и не просили, сами все понимали, знали, что и дома будут, и клубы, и театры. Я из деревни приехал, из-под Гагина. Был у меня баульчик такой фанерный, вот с ним я и заявился сюда. Двое суток добирался. До станции Смагино пешком шел, с ночлегом, потом, значит, в Горький приехал, на Армадановский вокзал, а через Оку на катере переплыл, их тогда финляндчиками называли. Ну, определили меня в барак, койка номер девятнадцать. Правда, все чисто, культурно, куб с кипяченой водой стоит. Утречком, бывало, из этого куба нацедишь кипяточку, хлеба ломоть посолишь покруче и того, стало быть, завтракаешь. А если у кого хлеб пеклеваный или белый, то это уже богач, разряд у него повыше, работает половчее. Обед, конечно, в столовой был, но варили больше пшениный кулеш да щи, котлеты бывали, компот. Мы этот компот сладкой похлебкой звали, ложкой его ели из тарелки, как суп, да с хлебом, чтобы посытнее было. Я тут товарища встретил, из наших, из гагинских, так он меня с радости морсом угостил и мороженым. Мороженое тогда маленькими кругленькими порциями продавали. Стоит на углу женщины в белом фартуке и ложкой наскребает из бачка в такую, знаете, формочку, а потом вафельку сверху кладет и снизу

вафелька. А вафельки с женскими именами были: Оля, Таня, Галя. Если в неделю один раз стакан морса или ситра выпьешь да такое мороженое съешь — это уже, значит, шикуешь. Я в парусиновых полуботинках ходил два года, к осени, когда грязь начиналась, черной ваксой их натирал, чтобы посolidнее выглядели. Да что там... Никаких трудностей мы не замечали и не боялись, жили весело, рабotalи дружно, с песней...

Вспоминая то время, Константин Иванович частенько смеется, говорит, что теперешняя молодежь иной раз и не верит, как они жили. У него трое детей, все уже взрослые, семейные, все работают в Дзержинске. И внуков трое, две девчущки и мальчик Костя, в деда, значит. Когда началась война, он сумел отбиться от «брони», в ногах у военкома валялся, а своего добился, сражался под Ленинградом, всю блокаду там был, а домой вернулся с орденом и с сильной контузией: слышать стал хуже. И жену он себе там, под Ленинградом, высмотрел. Он был старшиной первой статьи, а Елизавета Никитична офицером, медиком. Но разница в званиях, видимо, не помешала...

— Форма-то на мне морская была,— улыбается Константин Иванович.— А против морячка никакая сухопутная офицерша не устоит...

Клюева весь город знает. Он депутат горсовета, бессменный агитатор, партийный вожак у себя на заводе. И еще художник. По субботам или воскресеньям его можно видеть с мольбертом где-нибудь в дубовой роще, на берегу Оки, у ближней деревни. Места здесь очень красивые, «душевные», как говорит Константин Иванович, они так и просятся на полотно...

\* \* \*

Все дни, пока мы жили в Дзержинске, я по утрам ходил гулять. В эти часы весь город оживает. Потоки людей растекаются по широким улицам: кто на завод спешит, кто в учреждения, в институт. Позванивают трамваи, с мягким, легким шумом катят троллейбусы, несутся в разные стороны машины. Есть, конечно, здесь и свои проблемы: жилья сколько ни строй и все мало, торговлю не мешало бы подтянуть, службу быта. Город растет и вверх и вширь. Скоро его кварталы и на ту сторону Оки перекинутся, уже есть это в плане. В этом году новый драматический театр сдадут. Большой, красивый, почти на тысячу мест, как в городе Владимире. Крупный универмаг на днях откроют, загорится свет в новых квартирах, детских садах...

Новый город... Пятьдесят лет ему всего. Это и для человека мало, а для города — ясельный возраст. Все еще впереди у него, у рабочего города, города химиков и строителей.

## На белый похож пароход...

На высоком постаменте, вытесанном из серой каменной глыбы, стоит бронзовый всадник. Когда долго и неотрывно смотришь на него, то кажется, что и сам всадник и конь его не застыли навечно в металле, а как бы движутся, скачут навстречу яркому южному солнцу, встающему из-за гор. Всадник горяч и молод, еле держится на плечах его бурка, папаха открывает большой умный лоб, а в черных усах прячется добрая, душевная улыбка. Это товарищ Махач. Махач Дахадаев, аварец, большевик, военный комиссар, один из лучших сынов Дагестана. Вот таким, скачущим на коне, и запомнили его люди в боевые дни революции. На коне, сражаясь с врагами, и погиб он осенью восемнадцатого года на дороге из Нижнего Дженгутоя в Кадар...

А в мае двадцать первого, когда встал вопрос о переименовании столицы Дагестана, у местных народов было единодушное мнение:

— Увековечим имя товарища Махача! Он заслужил такую великую честь! За Махача голосуем!

И вот с тех пор город Порт-Петровский называется Махачкалой. Крепость Махача — так это звучит по-русски. Крепость для тех, у кого камень за пазухой. И дом родной для любого хорошего человека...

Со всех сторон Махачкала выглядит компактно сбитой, жизнерадостной и светлой. Она будто бы покоится на гигантской человеческой ладони, преподнесенной к предгорьям Таркитау. И особенно привлекательна Махачкала, если смотреть на нее с моря, километрах в пяти от портальных кранов. Вот как видит свою родную столицу поэт Расул Гамзатов:

Баюкает Каспий мятежный  
В объятьях своих небосвод,  
Где город Махача прибрежный  
На белый похож пароход...

И в самом деле, много здесь радостной, солнечной белизны, которая так и слепит глаза. И еще голубых красок много, зеленых и синих...

Все мы любим свои города и селения, землю, где родились и выросли. А у махачкалинцев к родным местам особая, как бы усиленная любовь. Это, видимо, оттого, что здесь живет много национальностей. Так много, что их трудно перечислить. Своих, дагестанцев, не один десяток наберется, да еще, пожалуй, от каждой республики, союзной и автономной, есть представители. И у каждого свой темперамент, свой «взгляд» на город. Что один не заметит, выделит и подчеркнет другой.

— Наш город с маху не узнаешь, — сказал нам при беседе Магомед-Салам Ильясович Умазанов, первый секретарь Дагестанско-

го обкома партии.— Махачкала многолика, и чтобы лучше понять ее и разглядеть, надо пешком походить по всем улицам и площадям. Медленно надо ходить, как в картинной галерее...

Мы по возможности так и делали. Рано утром шли к морю купаться. пляж здесь рядом. Широкой песчаной полосой растянулся он вдоль низкого берега. Хрустят под ногами мелкие ракушки. На отмели вода совсем теплая. И довольно чистая для такого большого города, если не считать мелких водорослей и травинок. Восьми часов еще нет, а народу уже много. Тут и там стайки молодежи. На разные лады заливаются транзисторы, на бумажках груды алой крупной черешни. И губы у чернооких девушек алы, смех звонок и беззаботен...

Потом я откалывался от группы и уходил на улицы, где еще не был. В Махачкале всюду веет новизной. Там что-то строит, здесь только что построили, впереди маячат журавли кранов. Город за последнее время три раза «трясло». Самое сильное землетрясение было в семидесятом году. Махачкала окуталась клубами пыли, зазябли руины, глубокие трещины обезобразили стены самых стойких домов.

— Войной запахло, будто бомбежка прошла,— вспомнил то время один фронтовик.— Такое разве забудешь...

Вся наша страна пришла на помощь Дагестану и Махачкале. Строили день и ночь. Сейчас по названиям кварталов, улиц и отдельных зданий можно узнать друзей Махачкалы: гостиница «Ленинград», микрорайон Узбекистана, участки Москвы, Тулы, Волгограда, Грузии...

Сто тысяч квадратных метров жилья сдается здесь ежегодно. Фасады многих домов любовно украшены национальным орнаментом. По главным улицами ходит троллейбус, хватает и автобусов. На остановках почти не бывает очередей. Махачкала — город промышленный, здесь развито машиностроение, продукция местных заводов — радиоизмерительные приборы, сварочные агрегаты, насосы, сепараторы — отправляется в десятки стран мира. В городе несколько институтов, университет, национальные театры, на двенадцати языках издаются учебники, много школ, библиотек, магазинов, детских садов. Впечатление такое, что в Махачкале не двести пятьдесят тысяч жителей, а гораздо больше...

— А как тут раньше-то было? — обратился я к двум пожилым аксакалам на центральной площади.— Может, вы помните?

— Мы все помним, дорогой товарищ, хотя годы у нас еще молодые,— приветливо ответил один из аксакалов.— Мне под восемьдесят и Магомеду под восемьдесят. Я тоже Магомед. Магомед Темирканов. А он Магомед Магомедов. Я даргинец, а он аварец. У вас, у русских, Иванов много, а у нас Магомедов. Это ничего. Вы своих Иванов не путаете, а мы никогда не спутаем своих Магомедов. Так какой вопрос интересует тебя, дорогой? Ах, да, как тут раньше было? Это когда раньше?

— Ну, до революции хотя бы...

— Зачем так далеко? Скажи ему, Магомед, какие звуки раздавались по утрам до войны вот здесь, где мы сейчас стоим?

— Ишаки ревели, тут базар был. А там конюшни стояли, за ними мазанки саманные, болото...

Мы отошли в тень акаций и сели на скамейку. Я с удовольствием слушаю «молодых стариков». У Магомеда Магомедова сегодня событие: он стал прадедушкой. Один его сын женат на русской, второй сын — на лачке, а внук — на русской. У Темирханова тоже многонациональная семья. Магомедов и Темирханов друзья, оба они по полвека в партии, строили новый, Советский Дагестан, работая на ответственных и важных участках. Они и сейчас еще работают, не уступая молодым. Подтянуты оба, энергичны, рассказывая о прошлом, не могут усидеть на месте, жестикулируют, спорят...

В старом городе было всего шестнадцать улиц и семнадцать переулков. От одного уж их названия веяло провинциальной убожеством: Косой, Кривой, Тюремный, Ночлежный... Несколько тусклых фонарей горело по углам. Осенью грязь непролазная, а летом задыхались от пыли, от запаха сточных канав, рыбьих отбросов, повсюду тучами носились комары и мухи. В тридцатые годы была в ходу немудрящая песенка, из которой мне запомнились лишь отдельные слова: «Дощечка медная... И ты полупьяная... На темных улицах Махачкалы»... Наверное, это о том далеком трудном времени пелось, когда новая жизнь еще только начиналась...

\* \* \*

Самые красивые города красивы и знамениты не только привлекательностью своих площадей и улиц, но еще и жителями, лучшими их сынами и дочерьми. Дагестану и Махачкале есть кем гордиться. Это Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса, народные поэты, воспевшие жизнь, труд и любовь, горные свои селения, хлеб и счастье, которые дала Советская власть. Это и Магомед Гаджиев, подводник, первый среди дагестанцев ставший посмертно Героем Советского Союза. Почитают люди и академика Хабибуллу Амерханова, народную артистку страны Бариату Мурадову, своих композиторов, художников, врачей, инженеров, рабочих, учителей.

Мировую славу обрел аварец Расул Гамзатов, достойный сын отца своего, Гамзата Цадасы. Чистая и глубокая поэзия его, слетев с горных вершин, перекатилась через многие границы, вошла в сердца сотен народов и наций. Расул Гамзатов не только поэт. Он общественный и государственный деятель, отмеченный всеми высшими наградами Родины. Его в лицо знают миллионы людей, а уж о Махачкале и говорить нечего. Здесь даже какой-нибудь мальчишка-первоклассник покажет пальцем дружку своему:



— А вон Расул идет!

Расул — так любовно зовут его и старики и дети. Седой, неторопливый, чуть погрузневший с годами, Расул Гамзатов для всех доступен, всем достойным он свой человек. Его солидная неторопливость и медлительность сразу же исчезают, как только он начинает читать стихи по-аварски. Он тут же меняется в лице, на глазах молодеет и гортанным густым своим голосом, жестом руки, всем видом своим старается донести, подать, не расплескать ни капли расплавленное золото поэзии. Даже не зная языка, чувствуешь силу и обаяние его стихотворного слова. Все истинное, талантливое, глубоко национальное как бы само западает в души людей и живет там долго, волнует и радует...

Николай Иванович Сивокос, первый секретарь горкома партии познакомил меня еще с одним знаменитым махачкалинцем, рабочим, слесарем завода имени Гаджиева Яковом Сулеймановым. Яков Сулейманов как бы подобрал в себя всю скромность и героизм, присущие дагестанцам. Он Герой Советского Союза, кавалер двух орденов солдатской Славы. Это тот самый Сулейманов, полковой разведчик, старший сержант, который всю войну таскал фашистских «языков», а зимой сорок пятого, в Прибалтике, районе Пиллау, переодев свою группу в немецкую форму, совершил невиданный подвиг: спас сотни наших солдат, собрал ценнейшие данные, привел с собой, обезоружив, целую роту немцев...

— Нормально все было, — говорит Сулейманов, застенчиво улыбаясь. — Умом мы с ребятами пораскинули и приняли решение — брать фашистов, пока не поздно...

Сулейманову под шестьдесят, а выглядит он совсем молодо: худ, жилист, белозуб. И стесняется как-то по-юношески, естественно, руки на коленях держит, жмется на край стула. Он брал Берлин, после войны работал у себя на родине в райкоме партии, отделом ведал, а когда объявили призыв восстанавливать шахты в Донбассе, сам туда попросился, потому что освобождал те места от оккупантов, кровь там пролил. Двадцать лет Сулейманов был простым шахтером, получил ордена Октябрьской революции и Шахтерской славы, стал почетным гражданином украинского города Доброполье. Потом на пенсию его проводили, на льготную, в пятьдесят лет: вредный цех, так полагается.

— Недели две каждое утро по привычке я все к шахте приходил, — смеется Сулейманов. — Не верил, что я пенсионер. И никто не верил. И сейчас не верят...

А он, в сущности, и не был ни одного дня без работы. Вернувшись в Махачкалу, пришел на завод и попросился в рабочие, чтобы в гуще людей быть, среди молодежи. Слесарное дело освоил быстро, к железу у него с детства было пристрастие. Стал он не только рабочим, а еще и воспитателем. Ребята тянулись к нему. Им с Сулеймановым легко

было и просто. И вообще на заводе все его полюбили, избрали депутатом в Верховный Совет страны...

Когда я беседовал с Сулеймановым, он в Москву на очередную сессию собирался и был несколько озабочен: надо успеть с комсомольцами к военному памятнику съездить, о разряде слесарном за двух парней похлопотать. Он и своих детей хорошо воспитал. Трое у него, два сына и дочь. Один парень в сельхозинституте учится, второй в армии служит, а дочка университет заканчивает.

— Добрые у нас хлопцы и дивчина гарна,— сказал Сулейманов с украинским акцентом.

— Вы по-украински знаете?

— Да балакаю трошки. Жена у меня украинка. Песни украинские люблю. А Татьяна моя наши лакские песни любит...

Сулейманов, рассказывая о семье, оживился, достал из папки фотографии, стал показывать. На одной карточке он был снят среди обнявшихся за плечи мужчин с орденами и медалями на пиджаках.

— Недавно фотографировались, в день Победы,— вздохнул Сулейманов.— Это друзья мои фронтовые, с которыми я в разведку ходил. Переписывались долго. Потом я их в гости в Дагестан зазвал. Кто жив еще остался, приехали... Из Хабаровска, с Украины, с Черного моря... И командир нашей разведроты был. Махачкала им понравилась. Еще собираются приехать. У нас тут кто раз побывает, снова просится. Махачкала людей к себе притягивает. Наш Расул Гамзатов сказал, что стучите ночью и средь бела дня: стук гостя — это песня для меня. Для любого дагестанца стук гостя — это песня...

\* \* \*

В субботу, к исходу дня, Николай Иванович Сивокос увез меня на гору Таркитау. Мы оставили машину где-то на втором витке и, огибая колочие кусты караткена, пошли пешком вверх мимо старинного мусульманского кладбища, через рыжие проплешины выгоревших полянок. Отсюда была видна вся Махачкала: пресное озеро Ак-Гюль, коридоры улиц, площади и парки, морской берег, телевизионная вышка и маяк, который уже начал подмигивать красноватым светом.

Справа, внизу за скалами, был аул Тарки, где останавливался Петр Первый во время персидского похода. Он облюбывал здесь место для будущего города и положил, по утверждению историков, первый камень...

Николай Иванович, показывая то на пустырь, где были какие-то казармы, то в сторону причалов, железной дороги, говорил вдохновенно:

— Там скоро новый микрорайон вырастет. А чуть дальше закачиваем библиотеку на миллион томов. Железную дорогу от пляжа уберем, кое-где под землю ее спрячем, выведем в другое место...

Как секретарь горкома и просто как житель Махачкалы, Николай Иванович уже видел будущий город. Он уже жил в его воображении, горел огнями и играл музыкой, легкий солнечный город, похожий на белый пароход.

## ВСЕ КАК В ЖИЗНИ

К началу концерта я опоздал и оказался среди толпы у раскрытых дверей переполненного зала. Люди поднимались на носочки, тянули головы вверх, чтобы хоть как-то сбоку увидеть артистку, но из-за тесноты ничего нельзя было разглядеть, и только музыка да голос, такой живой и доверительный, как бы «домашний», долетали к нам в коридор:

Не лукавьте, не лукавьте,  
Эта песня не нова.  
Ах, оставьте, ах, оставьте,  
Это все слова, слова...

Старинные русские романсы сменялись современными лирическими песнями, нашими и зарубежными, и после каждой песни благодарная публика дружно и подолгу аплодировала, а «Нищую» Беранже пришлось артистке повторять на «бис».

— Да кто же это такая? — спросил я соседа, так и не определив певицу по голосу.

— Зинаида Кириенко.

— Кириенко? Та самая? Киноактриса?

— Она самая.

— Но позвольте!.. Она же никогда не пела. У ней и роли-то во всех фильмах, кажется, беспесенные...

— Талант. Он ведь многогранен.

Спустя некоторое время мне довелось познакомиться с Кириенко. В фойе столичного Дома кино мы сели за столик, и я, вспоминая тот концерт, где она пела, стал высказывать удивление проникновенным и душевным ее голосом, подбором песен, манерой исполнения, а Зинаида Михайловна, подняв ладони и как бы обороняясь от меня, ответила шутливо строкой из романса, который я только что упоминал:

— Ах, оставьте, ах, оставьте!..

За этой шутливостью она скрывала свое неподдельное смущение. Я знал, что артисты любят похвалу, она им подчас необходима, как чашечка кофе для взбадривания, но в данную минуту, может быть, «кофе» оказался чуть крепковатым или же актриса не привыкла еще к горячим отзывам на свое новое амплуа.

— А сколько же можно слезы лить? — задорно и как-то вызывающе вскинула голову Зинаида Михайловна. — Во всех фильмах мне приходится плакать. И не любят меня, бедную, и бросаю. Уже все привыкли: раз Кириенко играет, значит, опять на экране какая-то несчастная баба будет страдать и мучиться. Режиссеры и сценарии мне однотипные присылают: везде эта горькая разбитая любовь, везде от жены уходит муж, найдя себе другую. Надоело! Я, может, сама хочу кого-то бросить. Нет, серьезно! Не улыбайтесь, пожалуйста!

— А какие образы, Зинаида Михайловна, вас привлекают?

— Я бы хотела сыграть современную женщину, самую простую, пусть не особенно модную по теперешним временам, но гордую, любимую мужем, детьми, передовую, работающую, такую, знаете, семейственную, у которой как-то все ладится, все правильно, стабильно, что ли, устойчиво, серьезно, весело... Есть такие женщины, которых так и хочется, с первого же взгляда, называть милая. Какие-то они очень женственные, чистые, уютные...

Сцепив тонкие нервные пальцы, Зинаида Михайловна с хрустом сжала их, вскинула молодое выразительное лицо, и я понял, что она уже не просто говорила, а играла, видела кого-то перед собой, в ее беспокойной душе уже шла «работа», разгорался огонек творчества...

С детских лет, еще до школы, Зинаида Кириенко мечтала стать артисткой. Это шло от ее матери Александры Петровны, женщины мужественной, неунывающей и боевой, душевно щедрой. Когда в Махачкалу, где тогда жила семья Кириенко и где Зина родилась, приезжали родственники, Александра Петровна, после обильного застолья и перепетых песен, говорила задумчиво:

— Эх, на сцену бы мне сейчас...

Она была партийной, ведала кадрами на заводе и, помимо ответственной своей работы, успевала еще занимать первые места в Осоавиахиме: скакала на коне и рубила лозу, имела значок «Ворошиловский стрелок». И это в Дагестане, где каждый мальчишка считает себя джигитом и где выделиться по какому-либо виду спорта даже сильному мужчине не так-то просто...

Александра Петровна, потеряв мужа на войне, осталась с пятерыми на руках. Из Дагестана ее направили на работу в Ставрополье, в станицу Ново-Павловскую. Эту станицу Зина считает своей второй родиной. Здесь она закончила десятилетку, здесь впервые проявила себя как артистка, активно участвуя в художественной самодеятельности. Она и пела, и плясала, и стихи декламировала. За простенькую военную песенку «Скажи, сынок, скажи, родной», которую Зинаида исполняла вместе с Альбертом Флемаковым, рыжим таким хорошим парнем, одноклассником, их узнала и полюбила вся станица: уж очень доходила песня до людских сердец, особенно до сердец вдов солдатских...

А потом Зинаиде доверили роль Одарки из гоголевской «Сорочинской ярмарки». На этот концерт пришла вся Зинина семья: мать, сестры, Оля и Лариса, братья Владимир с Валерием. Сидели они близко от сцены, и Зина после бурных аплодисментов видела, как мать улыбается и утирает слезы платочком. А по дороге домой, радуясь за успех дочери, она говорила:

— Одарка у тебя, Зинушка, ну как настоящая вышла, по-украински все получилось, по-народному. Недаром у тебя бабка-то украинка, Биденко ее фамилия. А дед твой туляк, Иванов Петр Иванович, он пел хорошо и на баяне играл...

— Я, мама, в Москву решила ехать, — сказала Зина, — в институт буду поступать, во ВГИК.

— Значит, не на сцену, а в кино?

— Кино мне больше нравится. Только бы приняли.

И Зину вскоре проводили в столицу. В ее чемоданчике среди скромных девичьих пожитков лежала самая дорогая и заветная вещь — тетрадь в колениковом переплете. Это был дневник тети Жени, материной родной сестры. От страницы к странице, аккуратным школьным почерком, тетя Женя записывала, как задумала стать артисткой цирка, акробаткой и как добилась своего, пройдя «все огни и воды». В пятнадцать лет она впервые увидела цирк, и он покорила ее. Она не просто полюбила сам цирк, его атмосферу, а полюбила всех артистов, а в одного коварного Якова Пименова по-девичьи безумно влюбилась. Она не пропускала ни одного представления, мучилась и замирала от восторга, а потом не выдержала и призналась Якову. Артист оказался человеком серьезным, погладил девчонку по голове и сказал:

— Это пройдет... Может, ты скоро летчика полюбишь или танкиста... Вон у них форма какая красивая...

— А у меня не пройдет! — заплакала Женя. — Я все равно... Я акробаткой буду! Я сама выучусь!...

И она действительно выучилась почти сама, в спортивных кружках достигла такого совершенства, так развилась и натренировалась, что через четыре года, когда цирк приехал в этот же городок, где Женя жила, ее взяли в штат. Она быстро пошла в гору, пользовалась большим успехом, и Яков теперь уже сам поджидал ее всюду. Они поженились. Зина помнит как тетя Женя и Яков приезжали к ним в Махачкалу. У них была ученая собачка Денди. Яков играл на маленькой гармошке, а Денди смешно перебирала задними лапами. Показывала часть своих номеров и тетя Женя, артистка Евгения Иванова, грациозная, броско красивая двадцатилетняя акробатка. Прямо в комнате на ковре делала она различные стойки, ходила на руках, крутилась колесом, и все смеялись и хлопали...

Талантливая акробатка Евгения Иванова так и осталась для Зинаиды Кириенко тетей Женей. Она умерла в войну в Красноярске от

какого-то приступа. А дневник ее сохранился. Он до сих пор служит для Зинаиды Михайловны как бы учебником работоспособности, воли, терпения и надежды...

В Москве на экзаменах Зинаида Кириенко показала себя хорошо и была зачислена в институт кинематографии. Ей как-то сразу повезло: она попала в руки таких знаменитых мастеров кино и прекрасных педагогов, как Тамара Федоровна Макарова и Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Уже на первом курсе она сыграла роль Авдотьи в инсценировке романа Галины Николаевой «Жатва», снималась в кинофильме «Роза ветров». Герасимов пригляделся к Зинаиде Кириенко, опытным глазом определил ее талант и предложил роль Натальи в экранизации «Тихого Дона». Это было такое доверие и такая смелость со стороны маститого режиссера, что некоторые киномработники говорили, покачивая головами:

— Опасно, знаете ли... Сложнейшая женская роль, классика... А Кириенко хоть и способная, но девчонка еще, вылепит ли она столь значительный образ...

Началась подготовка к съемкам, репетиции. Зинаида Кириенко перечитала несколько раз всего Шолохова, которого и раньше любила и знала, а «Тихий Дон», особенно сцены, связанные с Натальей, чуть ли не наизусть выучила. Она старалась глубже понять душу Натальи, всю ее нелегкую жизнь, разобраться в характере Григория Мелехова, всей мелеховской семьи. Работала Кириенко сутками, до иступления, до слез и порой ловила себя на том, что теперь она уже и не Зина, а Наталья из хутора Татарского и так Натальей и останется...

Время в работе пролетало незаметно, и когда фильм был готов и показывался в Вешенской, куда съехались и артисты, к Зинаиде Кириенко после сеанса третьей серии подошла женщина со слезами на глазах и не могла от волнения произнести связных слов. Михаил Александрович Шолохов, стоявший рядом, сказал Зине:

— Вот видишь, как тебя благодарит казачка! Запомни это. Ты все как в жизни изобразила...

Вскоре Кириенко еще раз вернулась к бессмертной шолоховской прозе: она хорошо сыграла роль Ирины в «Судьбе человека». Созданные ею на экране шолоховские образы Натальи и Ирины вывели Зинаиду Михайловну в число ведущих молодых киноактрис. Она получила приглашение от Александра Довженко и Юлии Солнцевой, снялась у них в «Поэме о море» и в «Зачарованной Десне». А потом снова классика, уже не современная, шолоховская, а Толстого, Герцена: «Казаки» и «Сорока-воровка». И все это сделано ею, считай, еще в студенческие годы, как говорится, без передышки, на большом подъеме. К шолоховским образам Натальи и Ирины добавились не менее прекрасные и яркие довженковские образы Катерины и Одарки, герценовской Анеты и толстовской Марьяны.

От фильма к фильму росло мастерство артистки, появлялся у нее свой стиль, своя манера. Работала она также честно, много и самозабвенно, сверяя с жизнью каждую деталь. «Кириенко брезглива ко всякой лжи, кривлянию, слащавой риторике. В своих работах она проявляет ту меру художественной сметливости, которая приходит к художнику только в результате любви к жизни и пониманию ее истинных связей...» Это говорит мастер о своей ученице. Это слова Сергея Аполлинарьевича Герасимова. Самой дорогой награды дороже они для актрисы. Она оправдала доверие учителя и в других своих работах. Образ Ефросиньи из фильмов «Любовь земная» и «Судьба» по романам Петра Проскурина, созданный Зинаидой Кириенко, высоко оценен миллионами зрителей. Образ этот не менее сложен, чем образ шолоховской Натальи. Трудно его было создать, чтобы не повториться. Ефросинья Дерюгина получилась у Кириенко женщиной не только обаятельной, но и мужественной, стойкой во всех бедах. Личное горе не убило в ней главного: человека, воспитателя детей. Это настоящий русский характер. Ефросинья запоминается надолго. И не только жалость и сострадание вызывают симпатию к ней, привлекают цельность ее натуры, честность, любовь к жизни. Я с радостью узнал, что за роль Ефросиньи Зинаида Михайловна Кириенко, народная артистка РСФСР, получила Государственную премию страны...



Перед майскими праздниками Кириенко пригласила меня в театр-студию киноактера на «Грозу» Островского. Я пришел пораньше и решил заглянуть за сцену, чтобы еще до спектакля увидеть Зинаиду Михайловну и поговорить немного. Но разговора не получилось. Кириенко уже была в платье Катерины, отвечала невпопад, лицо ее было каким-то чужим, отрешенным. Я понял, что передо мной уже не Зинаида Кириенко, а Катерина, что актриса вошла уже в образ и ей трудно «сойти на землю». И было видно, что она основательно волновалась. Это меня немножко удивило: ведь уж десятки раз роль Катерины прокатана ею, все нюансы повторены, обыграны. И только при ходе спектакля, когда Катерине-Кириенко долго аплодировали зрители, я понял и оправдал ее волнение: настоящий артист всегда играет как бы первый раз, всегда хочет дополнить и обогатить образ. А это не просто. Очень много душевных и физических сил требуется, творческой работы...

— Я полюбила театр, — сказала мне Зинаида Михайловна после спектакля. — Я здесь уже шестнадцать лет работаю. В кино пленка твою игру оставляет навсегда неизменной: уж как сыграл, так и будет, еще раз не повторишь. А в театре я при каждом спектакле могу вносить в образ что-то новое...

— Я заметил. Вот вы песни ввели. Это естественно получается. Значит, опять классика?

— Классика будит мысль, возвеличивает, заставляет сжиматься в комок от ответственности. Она помогает мне и к современным ролям предъявлять повышенные требования. Сейчас у нас поставлен спектакль «Много лет спустя». Это об актерах-подпольщиках, действовавших в оккупированном фашистами Симферополе. Я исполняю главную роль — заслуженной артистки республики Александры Перегонец. Роль мне нравится, я играю ее с удовольствием, с большой «классической» ответственностью...

— Здесь вас уже никто не бросает?

— Нет, никто. И я никого не бросаю. Я здесь погибаю за три дня до прихода наших.

— Опять трагичность?

— Это ничего. Мы, актеры, за свою жизнь по многу раз умираем. Лишь бы образ душу зажигал. Сначала твою, а потом уж через тебя и зрительскую...

Зинаида Михайловна увлеченно рассказывает мне о работе в театре, о поездках по стране, где она выступает и в роли актрисы и в роли певицы, читает стихи.

— Часто приходится выезжать?

— А постоянно. Вот только с целины вернулась. В Ленинград собираюсь. Ездить я люблю. Дома меня уже поругивают. Хорошо, что мама моя у нас живет, присматривает за моими мужчинами. У меня их трое вместе с мужем: два сына растут, Максим и Тимур, одному десять лет, а другому семнадцать. С ними не заскучаешь...

Зинаида Михайловна широко и открыто улыбается. Видно, что у нее хорошо и покойно на душе.

## СРАЖЕНИЯ В СЕЛЕ ЮНКИ

Ну и грязь... Даже мощный вездеход еле тащится по этому густому глубокому месиву. Три часа уже прошло, а позади всего километров девять. Натужно и глухо ревет уставший перегревшийся двигатель, и Анатолий Федорович Чижиков, первый секретарь Торбеевского райкома партии, с которым мы едем в колхоз «Большевик», говорит виновато:

— Стыдно, конечно, за такое бездорожье... Весной и осенью, да и летом, когда дождь брызнет, ни пройти, ни проехать. Огромный урон несем. Надо кончать с этим вековым бедствием...

В Торбееве Чижиков всего второй год, но успел уже сделать немало хорошего: в подборе кадров, в организации животноводства, в земледелии. Он молодой, энергичный, по образованию инженер, но



и сельскохозяйственная школа у него за плечами накопилась немалая. Обстановка в районе, когда он его принимал, была не из легких. Уже один тот факт, что почти все прежнее основное руководство — председатель райисполкома, его заместитель, начальник сельхозуправления — было освобождено со строгими партийными взысканиями, говорил о многом. Они плохо вели дело, любили чиновничество, показуху, «личное» уважение, запустили многие отрасли хозяйства. «На почве выпивки я не выходил три дня на работу». Это пишет в своем объяснении не рядовой человек, а заместитель председателя райисполкома...

Поведение этих горе-начальников в какой-то степени развратило, конечно, и некоторых нестойких председателей колхозов, в частности, Федора Семеновича Асташкина из «Большевика», к которому мы сейчас с таким трудом и пробираемся. В «Большевике» сегодня открытое партийное собрание и Анатолий Федорович хочет там выступить, поговорить о весеннем севе, о культурной работе, а заодно и «закрыть» по возможности одну жалобу, которую я везу с собой. Это, собственно, и не жалоба, а объемистое письмо в газету о председателе колхоза Асташкине, который «потерял всякий авторитет и руководить хозяйством не может». Письмо подписали двенадцать коммунистов, три депутата, двадцать механизаторов, бригадир, доярки, учитель — всего около сорока человек. Когда я показал это письмо Чижикову, он, нахмурившись, долго и внимательно вчитывался в мелко исписанные тетрадные страницы, а потом сказал:

— Ничего нового... Все нам известно. Таких жалоб из «Большевика» десятки уже были. Этот колхоз, как говорится, в печенках у нас сидит. А факты в основном правильные, тут не придерешься...

А почему жалуются? В чем дело? С чего все началось? Кто виноват? И как тут раньше-то было?

Раньше колхоз «Большевик» жил вроде спокойно. Он не был передовым, но и в хвосте не тащился. Асташкин местный, из села Юнки, все его с детства знают. Был учетчиком, сельским клубом заведовал, заочно закончил высшую партийную школу и вот уже десятый год председательствует. Первое время было к нему особых претензий: работал человек, старался, а потом вместе с колхозными успехами стали появляться в нем зазнайство, грубость. Он все чаще и чаще решал все дела единолично, мог уже и на старика прикрикнуть, заругаться при женщинах. Близких родственников на высокие посты устроил, любил рапортовать с трибун, «встречать» районное руководство. Вот, мол, смотрите, как Асташкина почитают, Асташкин во всем Торбееве фигура немалая. Он и внешне стал вроде меняться: пополнил, пешком ходить почти разучился, кому-то подражал, говорил короткими фразами, был всегда чем-то недоволен, смотрел исподлобья. Даже малейшей критики, просто намек на

критику уже не терпел, не переносил. Или оборвет сразу, или уж, выслушав, так поведет бровью, что язык прикусишь. В общем, недавний хороший деревенский парень Федя Асташкин, боевой комсомолец, превращался в хмурого чиновника. Некому было в самом зародыше прижечь в нем растущее самомнение: районные руководители, ценя в Асташкине другие, нужные им качества, ничего отрицательного не замечали, а своего, колхозного парткома он не боялся. Да и секретари по разным причинам менялись здесь почти каждый год...

Но вот партийную организацию в «Большевике» возглавил Григорий Васильевич Горьканов, ученый-зоотехник, тоже местный и тоже, как и Асташкин, молодой. Стал Горьканов делать председателю колхоза замечания, а тот ему с угрозой: «Засекать начинаешь, да? На мое место метишь? Ну, гляди»... Горьканов оказался слабым партийным работником, избрал не те методы борьбы с председательским злом. Надо было при всем народе Асташкина строгать, на партийных и общих собраниях, а он пытался все один сделать, как-то по старинке, по-деревенски. И началась между Асташкиным и Горькановым борьба, нашла, как говорится, коса на камень. Они сражались, а колхоз катился вниз по всем показателям. Постепенно развалилось свиноводство, резко снизилось поголовье коров, овец, усилился падеж молодняка. Прошлогодний план по продаже мяса выполнен только на половину, а молока — на восемьдесят пять процентов. При уборке допущены большие потери зерна, упала дисциплина труда, начались пьянки, самогеноварение, хулиганство. Пять человек за самогонку угодили под суд. Пенсионеры, солдатики, фронтовики да и другие колхозники остались на зиму без топлива. Некоторым пришлось спилить деревья возле своих домов, сжечь крыши сараев. Не помогло правление и в заготовке кормов для личного скота. Не до этого было Асташкину с Горькановым...

Вот в это время, когда уж стало неможноту людям, и посыпались из «Большевика» жалобы: помогите навести порядок, урезоньте Асташкина. Колхоз разделился на два лагеря, на два враждующих клана. Знал ли об этих сражениях райком? Конечно, знал. Знал, да настоящих партийных мер не принимал. Райком уподобился в этом случае судье на ринге: смотрел, кто кого. Вместо того чтобы поглубже изучить вопрос на месте, принять правильные меры, бюро райкома за полгода влепило Асташкину и Горьканову по два выговора — вот и все воспитание. Да, по два, за полгода! Асташкину один с занесением в учетную карточку, а второй без занесения. А у Горьканова оба выговора простые, без занесения. От обоих постановлений бюро райкома так и веет торопливостью, казенщиной, канцелярскими методами руководства. «Послушали», «обговорили», и с плеч долой. А положение в колхозе не изменилось, жалобы во все инстанции

продолжали поступать. И вот теперь это письмо с «бухгалтерскими» скрупулезными фактами, с разными мелкими деталями, процентами, рублями...

...Медленно тащится вездеход. Чижигов то и дело посматривает на часы, на подсыхающие поля, на жаворонков, застывших в голубом небе. Показалась наконец первая деревня. На окраине ее, прямо на мокрой земле, в грязи стоит, а то и просто валяется колхозная техника. Всю зиму так стояла. Хотя бы дешевой крышей ее укрыть, без стен, без пола. Не так бы все-таки ржавели машины, меньше портились. Возле ферм горы навоза. Никто его не вывозит, а урожаи низкие, бедные. Сейчас уж редко такое встретишь, у хорошего хозяина и былинки не пропадет...

А вот и центральная усадьба, правление, Дом культуры. Грязи в селе еще больше, чем в поле. Прав Чижигов: без дорог нельзя, в любое время года свободно должна проходить в колхоз легковая машина, а не только вездеход с тремя ведущими осями...



Собрание началось вовремя. Народу собралось так много, что пришлось из конторского зала переходить в Дом культуры. Приехав обычно в какой-то колхоз, минут через двадцать сам, никого не расспрашивая, узнаешь все новости: кто с кем соревнуется, какие обязательства и планы, кто сегодня впереди, да и портреты ударников увидишь. Все эти данные, как правило, развешаны на стенах в коридорах правления, на улице. А здесь, в «Большевике», нигде нет никакой наглядной агитации: ни плакатов, ни лозунгов, ни фотографий, ни стенгазеты, ни даже простенького боевого листка. Голо, серо, неприглядно. И Дом культуры, где все это должно быть особенно ярким и красочным, похож на заброшенный старый сарай. Неуютно в нем, холодно, пахнет сыростью, чем-то неживым. Еще до собрания, знакомясь с Асташкиным, я намекнул ему на это запустение, и он, сразу оживившись, как-то радостно стрельнул глазами на кабинет Горьканова: его, мол, это епархия, его обязанности, и что, мол, с такого беспомощного возьмешь. Да, далеко, видать, зашла у них потасовка, прямо ослепли и оглохли мужики от взаимной неприязни. Им бы в одной упряжке тащить тяжелый колхозный воз, а они тратят силы на вражду, на жалобы. Они и тут, на собрании, сидели в стороне друг от друга и каждый считал правым себя...

Анатолий Федорович, поговорив о весенних хозяйственных делах, перешел к письму колхозников. Зал сразу же загудел. Люди просили слова. Выступали в основном коммунисты. И факты, приведенные в письме, стали обретать живую плоть. Не все они были значительными, крупными, упоминались и мелочи, но вот как раз из таких

мелочей, если их много да повторяются они часто, и создается в коллективе тот микроклимат раздражения, досады и недоверия, которые мешают жить и работать. Все сводится в одному: мститель Асташкин, равнодушен к людям, к их нуждам и запросам. Пастуху не дали лошади, трактористу — соломы, кто-то неделями не сможет попасть к председателю в кабинет, этого обманули, тому нагрубили. Шофер Конторин, например, заявил, что ему не выплачивают деньги за классность. Чижииков обратился к бухгалтеру, сидящему в первом ряду, и тот сказал, что да, за классность Конторину платить положено, но от него якобы не поступало заявления с резолюцией председателя. Конторин кричит, что уже четыре заявления Асташкину отдал. Где они? Это же документ!

— Не помню,— мрачно отвечает Асташкин.— В карман куда-то сунул...

Так при всех, на партийном собрании и заявляет спокойно, что «сунул куда-то в карман». И даже недоволен, что потревожили его, надулся, метнул взгляд в сторону Конторина. Приводились примеры приписок, воровства, хулиганских действий, головотяпства, наплевательского отношения к работе. Секретарь комсомольской организации рассказал о недостойном поведении сына председателя, о рукоприкладстве. Главный зоотехник пьет, не видно его на фермах, со своим братом свинью зарезал и мясо взял себе. Была афера с запчастями, в одной бригаде сеяли сорными семенами, лошадей на мясо незаконно продавали, ручного труда много, рационализаторские предложения никому не нужны, культурная работа запущена...

Выступило человек пятнадцать. И народ все молодой, здоровый, в основном механизаторы. Да с такими горы свернуть можно, а тут сплошные неурядицы в колхозе, недостатки на каждом шагу. Ни Асташкин, ни Горьканов ничего путного и вразумительного не сказали, отделались общими фразами, на критику по существу не ответили, сделав вид, что ее как бы и вовсе не было. Откровенно говоря, я ждал, что Асташкин выступит, признает свои ошибки, покается, извинится перед народом, даст слово исправиться. И от Горьканова хотелось подобное же услышать. Было видно, что и Чижииков ждал от них честного твердого слова. Ведь все замечания были правильные, дельные. Или уж возразили бы, отпор кому-то дали. Нет, ничего не было. Так и остались они при своем мнении, даже обиженные позы не изменили.

Перед отъездом я беседовал со многими людьми, и у всех было единое, как и на собрании, мнение: пора навести порядок в руководстве колхозом, надоела вся эта склочная свистопляска, стыдно за общественные дела, за все прорухи в бригадах и на фермах. Поинтересовался я у Горьканова и его «партийным хозяйством», документами. И никакого, собственно, «хозяйства», как и наглядной

агитации, у него не оказалось. Тошная папочка еще с прошлогодними отчетами с собраний, причем не оформленными, небрежно составленными, — вот и все, что он смог показать. Не было в его кабинете того боевого духа, той домовитой атмосферы, которые чувствуются обычно сразу же, как только войдешь в комнату партийного секретаря. От всего, как правило, в таких кабинетах веет человеческим присутствием, работой, зазором, интересом к делу, здесь пахнет тушью, красками, бензином, табачным дымом, землей и хлебом. А у Горьканова в комнате ничем, кажется, и не пахло. И бумаг почти никаких нигде не было видно. И если бы не табличка на двери, то так бы и не узнал никто, чей это кабинет. Мало, видно, сюда ходят. Не тянет сюда людей. А ведь в колхозе восемьдесят шесть коммунистов. Это же такая сила, если ее по нужному руслу направить. Эта сила способна не только Асташкина поставить на место, а любого к порядку призовет. Но эта сила почти бездействует, разобщена, механизм ее крутится вхолостую. И повинен в этом, конечно, в первую очередь райком партии. Ведь закреплен же за этим колхозом кто-то из райкомовских инструкторов, он обязан помочь молодому, неопытному секретарю, научить его хотя бы элементарным вещам. Этот инструктор, если надо, должен ночевать в селе, жить здесь неделями, но все наладить, спросить, потребовать, а главное, научить...

— А жалоба-то, выходит, не закрыта у нас, — говорю я Чижикову, когда мы сели в вездеход.

— Выходит, что так, — вздыхает Анатолий Федорович. — Но мы ее скоро закроем...

\* \* \*

После майских праздников я позвонил в Торбеево, в райком партии. Трубку взял Чижиков. Я с ним за командировку подружился и стараюсь выдерживать тот полусутольный тон, который мы взяли с ним, когда месили торбеевские грязи.

— А почему это первый секретарь райкома в разгар сева в кабинете сидит?

— А мы уже отсеялись! За несколько дней! Самыми первыми почти! Всех мобилизовали!

В голосе у Анатолия Федоровича радость. И я радуюсь за него. Он знает, что я обязательно спрошу о «Большевике», и, опережая меня, кричит в трубку:

— И «Большевик» отсеялся неплохо. Механизаторы там боевые. Порядок мы так наводим. И наведем! В самое ближайшее время...

Я не стал расспрашивать его ни о каких подробностях. Верилось, что Чижиков слово свое сдержит.

## ЗА ДУНЬКИНОЙ ГАРЬЮ

Мы торопились в Заозерье, в небольшой хуторок за старинным костромским селом Сандогорой. Дорога была хорошей, в основном асфальтированной, и через час с небольшим уже показались сандогорские крыши. Но разговорчивый шофер вдруг помрачнел, забеспокоился и, сбавляя ход, стал тревожно смотреть по сторонам.

— В чем дело? Ведь считай что приехали...

— Куда приехали-то? — рассердился водитель. — К селу пока приехали! А самим селом как? А деревнями? Сядем посредине Сандогоры, как пить дать завалимся по самые уши. Я-то уж знаю, куковал тут не единожды...

У крайнего дома окликнули мы прохожего, и тот, подтверждая опасения шофера, сказал, что через Сандогору и Колесово даже на таком новеньком «газике» — вездеходе, как у нас, нечего и соваться, надо правее брать, мимо фермы, прямо на Починок.

— Здешние грязи вообще-то еще ничего, сносные, знаете ли, грязи, — со знанием дела объяснял прохожий. — Жидкие они, слабые, загустеть из-за дождей не успевают. Глубокие только, вот беда. Иная колдобина метра полтора, а то и все два. Но, бог даст, проскочите, тут ведь до Заозерья-то из рогатки дострельнешь...

Как и водится, бог ничего не дал, и мы хоть и с огромным трудом, но все-таки пробились к Починку, а в самой деревне тут же сели, завалились, как и предсказывал водитель, «по самые уши». Выбраться из машины пришлось через заднюю дверцу, предварительно сняв обувь и закатав повыше штаны. Грязь и в самом деле была жидкой и не очень холодной, «сносная грязь». Лужи, одна крупнее другой, тянулись через весь Починок, и еще неизвестно было, какая из них глубже. Наверное, со стороны мы выглядели смешными, но никто над нами не смеялся, даже собаки не тявкали. Нас просто не замечали, как не замечают что-то примелькавшееся и порядком надоевшее. Выдернув из огородного частокола длинную палку, шофер попытался было промерить лужу, но услышал от завалинки спокойный, тихий голос:

— И не утруждайся, сынок, все равно не выберешься. Сейчас Вася из лугов на тракторе поедет, он тебя и вытащит. За так вытащит, он у нас непьющий...

— Это что же, бабка, за безобразие, а? И как вы тут только живете? Море, понимаешь, разливанное, а не деревня!

— И не говори, милый! — по-костромски нажимая на «о», пожаловалась старуха. — Вот так вот и перекликаемся из окошка в окошко через дорогу-то, так и перекликаемся. Не перейдешь улицу-то. Только в высоких сапогах ежели. В резиновых сапожищах от весны до осени шледаем. И стар и мал в сапожищах. Энти лужи проклятые и в сухую погоду долго не сохнут...

— А чего же вы их не засыплете? Навалились бы всей деревней да засыпали.

— Вот и я говорю, что засыпать бы надо, а то в сапожищах с весны до осени. Но указание, слышь, нет на засыпку, бумага не послана...

Наговорившись с бабкой, мы пошли в Заозерье пешком, а шофер остался дожидаться Ваську. В лужах торчали бревна и доски, обрывки железных канатов — следы долгих «сидений» разных машин. И каждая лужа имела название: Нюркина, Настасьина, Зинкина. Какой-нибудь Настасьи давно уж и в живых-то нет, а название держится... Мы уже знали, что сандогорский колхоз богатый, председатель здесь деловой, авторитетный, строит всего немало, строит капитально, а деревенские улицы привести в порядок не может или не хочет, «указание» ждет. И работники сельсовета с народными депутатами не подают свой голос, привыкли, видно, к этим ужасным лужам, притерпелись...

Я бы не стал писать данных заметок, если бы так грязно было только здесь, под Сандогорой. Дело в том, что таких сел, как Сандогора да Починок, в одном российском Нечерноземье тысячи. Дорогу, смотришь, к деревне подведут и дальше продолжат, а саму деревню, улицы ее так с колдобинами и оставляют. Или ферму «забудут». В некоторых колхозах к фермам можно подойти только в охотничьих болотных сапогах. В мордовском селе Юнки под Торбеевом, где я не так давно был, возле коровника утонул трактор, а тракторист еле успел выпрыгнуть из кабины. В этом же колхозе самое грязное и непроходимое место не где-нибудь, а у Дома культуры и у здания правления — подметки оторвешь...

А то на приличном шоссе, на перекрестке, оставляют почему-то недоделанным какой-то участок, совсем маленький, «ничейный», низинку какую-нибудь, и люди тут маются, проклиная дорожников. Каждый год эту низинку латают или вообще ничего не делают, и она уже, приковывая к себе много «страдальцев», становится знаменитой, о ней, провозжая в путь, говорят уже с некоторым почтением:

— Везде проскочишь! На любой машине. Вот только низинка у нас за Дунькиной гарью... Там гляди в оба!

В Алтайском крае такой «знаменитостью» почитается Харьюзовская гора. Вернее, и не гора, а так, пологий подъемчик метров на триста. Когда солнечно да сухо, этот подъемчик и не замечается. Но стоит дождичку брызнуть — Харьюзовка не пропустит.

Однажды на этой горе мы просидели всю ночь. И траву подкладывали под скаты, и хворост, и даже фуфайку не пожалели, плащ прорезиненный — никакого толку. А сзади нас уже хвост образовался: грузовики, самосвалы, «Москвичи» и «Волги». В беде народ сближается быстро, развели мы костры, все съестное сложили на одну газетку и, закусывая, стали перебирать различные случаи вот такого «сидения». Каждому было что вспомнить. Я рассказал, как у нас в Горьковской области, под моей родной деревней у Кременского леса, арзамасский шофер так долго вытаскивал из канавы свой грузовик, что женился в Вязовке, в ближнем селе.

— Ничего смешного не вижу,— заметил сидевший тогда с нами бухгалтер из сельэлектрo.— Пока вы тут юмором занимались, я подсчитал бегло, во сколько обходятся вот такие Харьюзовки. Золотыми плитками можно иную горку выложить...

Это уж точно, что золотыми. И лужи сандогорские да починковские вместо песка и кирпича битого можно давно уже было чуть ли не пачками денег завалить — столько в них всего ценного вбухано...

Все эти харьюзовские и горьковские истории пришли мне на память, когда мы босиком, с задранными штанами, подходили наконец к Заозерью. Настроение у нас было не то, что в начале пути. И места эти уж не казались такими красивыми. Не хотелось бы их вспоминать, как один мой товарищ иногда вспоминает свою поездку в городок, где всегда огромная лужа перед вокзалом.

— Из поезда, понимаешь, выскочишь, а в город не пройти — кругом море разливанное.

— Весной и осенью, что ли?

— Да и летом тоже. Глубокая такая вмятина, просыхать не успевает. Хоть лодку вызывай.

— А что же власть-то городская? Как они сами-то пробираются?

— Оно, вишь, какое дело-то, они на поездах мало ездят, да и учреждения все по ту сторону вокзала... Правда, засыпали как-то шлаком, да унесло его...

Может, ее давно и заасфальтировали, ту знаменитую лужу, может, там уже молодые деревца поднялись, но все равно, вспоминая то время, мой товарищ каждый раз говорит:

— А, это тот городок, где лужа перед вокзалом...

Сейчас дорог строится всюду много. В той же Костромской области все основные магистрали теперь проезжие. Катишь в Кадый или Макарьев на «Волге» и забываешь, как тут раньше сутками куковали. Даже ехать неинтересно, однообразно как-то. То ли дело раньше. Пока доберешься, бывало, до каких-нибудь Гришкиных Выселок, и мышцы разовьешь, толкая боком грузовик, и дымком от костра надышишься, и жизненный путь свой продумаешь, замерзая в кузове под брезентом, и водочки выпьешь, если тебе ее даже доктора принимать не велели... Хорошо!

Да, немало строится дорог, это верно. И больших и малых. Но и «Дунькиных гарей» еще хватает. И не только в деревнях, а и в городах даже. В крупных центрах...

Смотрю как-то телевизор, и вдруг такую сцену показывают: большой элеватор, вереница машин с зерном нового урожая, унылые лица шоферов. В чем дело-то? Оказывается, эти шоферы триста верст отмахали без остановки, торопились, а вот к самому элеватору подъехать не могут. «Дунькина гарь» их не пускает, Нюркина лужа, она, голубушка... Не погибла еще, не высохла... Смотрел я на нее в оба глаза. Чем-то родным так и повеяло на меня... В Кадый захотелось, на Гришкины Выселки, в Заозерье...



## СОДЕРЖАНИЕ

Так это было...	3
Поклон хлебу . . . . .	9
Вкус картошки . . . . .	14
Праздник в Ленкорани . . . . .	19
Пошехонские сыры . . . . .	24
Мой свояк с Украины . . . . .	30
Дагестанский виноград . . . . .	33
Этюды о городах . . . . .	39
Все как в жизни . . . . .	49
Сражения в селе Юнки . . . . .	54
За Дунькиной гарью . . . . .	60

**Юрий Тарасович Грибов**

**ПОКЛОН ХЛЕБУ**

**Редактор М. М. Жигалова.**

**Технический редактор Е. Н. Щукина.**

---

Сдано в набор 05.02.81. Подписано к печати  
15.04.81. А 00362. Формат  $70 \times 108^{1/32}$   
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд.  
л. 4,06. Усл. кр.-отт. 2,275. Тираж 100 000 экз.  
Изд. № 785. Заказ № 157. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. 125865. ГСП, Москва, А-137,  
ул. «Правды», 24.



Цена 25 коп.

Индекс 70668

# ТОВАРИЩИ КНИГОЛЮБЫ!



Книгу можно не только купить, но и приобрести по выигрышному билету Всероссийской книжной лотереи. Стоимость билета 25 копеек, а сумма выигрышей от 50 копеек до 5 рублей.

На каждые 200 билетов—69 выигрышных.

По выигрышному билету можно получить книгу или другие товары по своему выбору из наличного ассортимента любого книжного магазина или киоска на территории РСФСР.

**УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ БИЛЕТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ЛОТЕРЕИ!**

Дирекция Всероссийской  
книжной лотереи

